

ИВАН СОЛОНЕВИЧ

ДИКТАТУРА ИМПОТЕНТОВ.

СОЦИАЛИЗМ, ЕГО ПРОРОЧЕСТВА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

НЕОЖИДАННОСТЬ

Еще Ф. Достоевский горько жаловался на то, что иностранцы никак не могут понять Россию и русский народ. Эти жалобы мне кажутся несколько наивными: что же требовать от иностранцев, если ни России, ни русского народа не понимала та русская интеллигенция, которая, в частности, служила единственным источником и для всей иностранной информации? Та русская интеллигенция, которая, по ее же собственному традиционному выражению, "оторвалась от народа", стала "беспочвенной", оказалась по другую сторону "пропасти между народом и интеллигенцией". Та интеллигенция, которая веками "свергала самодержавие царей" для того, чтобы оказаться лицом к лицу с "неожиданностью" товарища Сталина.

Эта книга не претендует ни на какую "научность" -- после научностей гегелей и марксов термин научность принимает явно скандальный оттенок. Но на некоторую долю здравого смысла эта книга все-таки претендует. С точки зрения простого здравого смысла, в истории НЕТ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ никаких случайностей: здесь все развивается по закону больших чисел. И "неожиданность" существует только для людей, которые не ожидали, ибо не знали. Так, разгром на Востоке был для немцев неожиданностью -- потому, что военного прошлого России они: а) не знали и б) не хотели знать. Коммунистические партии и пятые колонны явились неожиданностью для людей, не знавших политического прошлого России. Давайте исходить из той точки зрения, что все то, что совершилось и совершается в Европе и в России, не есть случайность и не должно было бы быть неожиданностью. Что все это закономерно выросло из прошлого -- вся та жуть и все те безобразия, которые творятся и в России, и в Европе.

Сейчас Россия стала страной самой классической революции во всей истории человечества. Великая французская революция кажется только детской игрой. Угроза коммунизма нависла над всем миром -- от Берлина до Явы и от Нанкина до Пенсильвании. Война между коммунизмом и всем остальным человечеством неизбежна абсолютно. Возможно, что эта книга не успеет появиться на свет до начала этой войны. В этой войне человечество может наделать точно таких же ошибок, какие наделали Наполеон и Гитлер, и очутиться лицом к лицу с одинаково неприятными неожиданностями. Их лучше бы избежать. Ибо при мировой победе коммунизма, хотя бы и русского, всем порядочным людям мира, хотя бы и русским, не останется ничего, кроме самоубийства. Непорядочные, вероятно, найдут выход: будут целовать следы копыт гениальнейшего и получают за это паек первой категории. Как сейчас получают в восточной зоне "сталинские пакеты", -- для немецкого патриотизма это тоже, вероятно, явилось "неожиданностью".

Для того, чтобы хоть кое-как понять русское настоящее, нужно хоть кое-как знать русское прошлое. Мы, русская интеллигенция, этого прошлого НЕ ЗНАЛИ. Нас учили профессора. Профессора частью ввали сознательно, частью ввали бессознательно. Их общая цель повторяла тенденцию петровских реформ

начала XVIII века: европеизацию России. При Петре философской базой этой европеизации служил Лейбниц, при Екатерине -- Вольтер, в начале XIX века -- Гегель, в середине -- Шеллинг, в конце -- Маркс. Образы, как видите, не были особенно постоянными. Политически же "европеизация" означала революцию. Русская интеллигенция вообще, а профессура в частности, работала на революцию. ЕСЛИ бы она хоть что-нибудь понимала и в России, и в революции, она на революцию работать бы не стала. Но она не понимала ничего: ее сознание было наполнено цитатами немецкой философии. Как показала практика истории, немецкая философия тоже не понимала ничего. Так что слепой вел глухого, и оба попали в одну и ту же яму, кое-как декорированную "сталинскими пакетами" в Берлине и Москве и CARE-пакетами в Мюнхене. Сидя в этой яме, обе профессуры продолжают заниматься все тем же -- пережевыванием цитат.

Европейская интеллигенция больна книжностью. Я не проповедую неграмотности. Книги нужны человеческой душе, но нельзя питаться только книгами. Человеческой крови нужно железо, но из этого не следует, что надо питаться гвоздями. Мы все больны книжными представлениями о мире, представлениями, созданными книжными людьми. В этом, кажется, отдают себе отчет в США: м-р Трумэн посылает на Балканы и в прочие места не профессоров и не философов, а банкиров и репортеров: те хоть что-нибудь увидят. Самая толковая книга о России, какая до сего времени попадалась мне на глаза, принадлежит м-ру Буллитту. Самые верные прогнозы будущего делали репортеры, полицейские и деловые люди. В России, кроме того, делали еще и поэты, то есть почти все, кроме профессоров и философов. Теперь это очевидно до полной бесспорности. Но представления, созданные профессорами и философами, вьелись в нашу психику, как татуировка в кожу или как рак в печень. И все, что идет в разрез с этими представлениями, вызывает бессознательный внутренний протест.

ПРОРОЧЕСТВА РЕАКЦИИ

На путь последовательного, "научного" социализма Россия вступила первой в истории мира. Та русская интеллигенция, остатки и наследники которой в своем большинстве сейчас находятся в эмиграции, по понятным причинам не может сознаться в том, что эту социалистическую революцию подготовила именно она. Что все, что сегодня практически проводит товарищ Сталин, было заранее спланировано властителями дум русской интеллигенции: и единый вождь, и коллективизация деревни, и диктатура тайной полиции. Но когда мы переходим к вопросу о русской интеллигенции и ее вине в том, что ныне делается в России и ИЗ России, мы снова вступаем в обычную для всех общественных наук путаницу терминов.

История русской общественной мысли делится на две очень неравные части. В первой части работали люди первого сорта. Их читали все, но их не слушал никто. Вторую частью безраздельно заведовали литераторы второго сорта. Их читали мало, но им повиновались все. Достоевский и Толстой, Пушкин и Блок, Тургенев и Лесков были, конечно, людьми первого сорта. Но политически они были -- или считались -- реакционерами. Еще в большей степени это же относится к представителям русской науки. "Периодическая система элементов" Д. Менделеева кое-что говорила и уму, и сердцу каждого русского интеллигента. Но политические убеждения Менделеева не интересовали никого: они были "реакционерами". Русское интеллигентское общество было целиком захвачено "Бесами", но никакие предупреждения автора этих "Бесов" не помогали ничему. Это стадо так и покончило свою бездарную и безмозглую жизнь: бросилось в омут революции. Но "Бесы" пока что остались живы.

Мы, русские, вступили первыми на истинно бесовский путь. Может быть, наш конкретный, наглядный, вопиюще очевидный пример послужит некоторым предупреждением и тем "революционным интеллигентам", которые в иных странах одержимы теми же бесами и стоят перед тем же омутом. Тогда, может быть, гибель почти сотни миллионов людей России и ее соседей не будет совсем уж

бесплодной.

Почти сто лет тому назад Александр Герцен писал: "Социализм разовьется во всех своих фазах до крайних последствий, до нелепости. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик страдания и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущей революцией" (Собр. соч. Женева. Т. 5, с. 121).

Около полувека назад писал Ф. Достоевский: "Дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить новое, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями человечества прежде, чем будет завершено... Раз отвергнув Христа, ум человеческий может прийти до удивительных результатов". (Дневник писателя. "Гражданин", 1873, No 50).

Почти одновременно с Достоевским лаконически, но с изумительной точностью Лев Толстой нарисовал историческую схему будущей революции: "К власти придут болтуны-адвокаты и пропившиеся помещики, а после них -- Мараты и Робеспьеры" ("Яснополянские записки", с. 81).

На самом пороге революции -- в 1912 году предупреждал В. Розанов: "В революции нет и не будет никакой радости. Никогда это царственное чувство не попадет в объятия этого лакея... В революции никогда не будет сегодня ибо всякое завтра ее обманет и перейдет в послезавтра" ("Опавшие листья").

Почти за сто лет до революции начала пророчествовать и наша поэзия. И кончила пророчествовать на самом пороге 1917 года. Почти сто лет тому назад М. Лермонтов писал:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет...

И на самом пороге этого падения А. Блок предупреждал

Люди, вы ль не узнаете Божьей десницы:
Сгибнет четверть вас от глада, мора и меча...

Все это уже свершилось: "России черный год" настал. К власти пришли болтуны-адвокаты (Керенский) и пропившиеся помещики (кн. Львов, председатель первого революционного правительства), а за ними Мараты и Робеспьеры -- Ленин и Сталин. Социализм "развивался до крайних последствий". Около четверти населения страны действительно погибло -- от тифов, гражданской войны, голода, коллективизации, от меча террора. И нет никакого "сегодня" -- каждая завтрашняя пятилетка обманывает и переходит в послезавтрашнюю. Но началась и "смертная борьба". Революционное, правда, не меньшинство, а большинство, "титаническая грудь" которого надрывается от отвращения и рвоты при истинно бесчеловечных свершениях тоталитарного социализма, ведет эту "смертную борьбу" уже с 1917 года и уже заплатило в этой борьбе десятками миллионов жизней. Но и это большинство пока что бредет ощупью. Оно еще не в состоянии "отрешиться от старого мира" и забыть те заповеди научного социализма, которые оно всосало с молоком всех философских систем Европы. Человек есть то, что он есть.

"Если бог был отец ваш, то вы любили бы меня. Но ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала... Когда он говорит ложь -- он говорит свое, ибо он лжец и отец лжи" (Иоанн 8, 42-44).

Великие жрецы философии, подчинившей Европу, были лжецами, и отец их был отцом лжи. Вся сумма современных "гуманитарных наук", в течение тысяч лет звавших нас к невыразимо прекрасному будущему материалистического утопизма, была основана на лжи. Сейчас, когда обещания выполнены и утопии реализованы, когда вся Европа захлебывается в голоде, грязи и крови, когда та вавилонская башня безбожного социализма, которую предсказывал Достоевский, почти достроилась и уже начинает рушиться, нам, всем нам, окаянно трудно примириться с тем фактом, что в основу философии и в фундамент башни была заложена ложь. Карл Маркс был по-своему прав, когда он сказал: "Философия -- это душа пролетариата". В душе пролетариата, да и не только его одного, философия заменила религию и гегели заменили Бога. Мы все

прямо или косвенно, сознательно или бессознательно, воспитаны на гегелях. Нам всем трудно примириться с тем фактом, что перед всеми нами стоит выбор: или философия или религия, с тем фактом, что вся сумма гуманитарных наук есть заведомо организованная ложь и что самая научная книга, когда бы то ни было написанная о человеческом духе и о человеческом общежитии, есть просто Священное Писание. И что реакционна не Библия -- реакционна революция. Что "опиум для народа" поставлял не Христос -- этот опиум поставляла вся философия, начиная от Платона и кончая пока что Гегелем и Марксом.

Вся Европа сейчас находится в таком положении, какое тридцать лет тому назад показалось бы совершенно неправдоподобным всякому человеку, обладающему нормальным здравым смыслом и нормальными человеческими инстинктами. Неправдоподобен тот факт, что Россия, недавняя житница Европы, уже тридцать лет не выходит из хронического голода. Неправдоподобен тот факт, что народ Гегеля и Канта, Гете и Бетховена до последней капли крови сражался за последнюю комнату в Reichskanzlei и за идеалы Бельзена и Дахау. Неправдоподобен тот факт, что в Европе, после полутора тысяч лет сверхчеловеческих усилий христианства, на очередь был поставлен вопрос о физическом уничтожении целых классов и целых рас -- этот вопрос и сейчас еще не снят с повестки дня.

Европа, сидящая в голоде, грязи, бараках, развалинах, крови, ненависти, страхе и отчаянии? Родина белой расы и всей ее культуры, расколота трещинами и классовой, и национальной ненависти. Национальные войны переплетаются с гражданскими. Расовый террор -- с классовым террором. Одни "пролетарии" грабят других "пролетариев". Одни народы пытаются истребить другие народы. Одна часть европейцев ждет спасения от "империализма доллара", другая от демократии НКВД. И никто не верит ни во что, кроме как в кусок хлеба, который нужно либо добывать путем грабежа, либо спастись от грабежа. "Человек есть то, что он ест" -- эта аксиома была написана на знаменах революционной Европы, и к этой аксиоме Европа и пришла: кроме куска хлеба, за душой не осталось ровным счетом ничего.

Европа наполнена голодом. Это очень плохо, и об этом пишут и говорят все. Но Европа еще больше наполнена ненавистью. О ненависти сейчас, в сахаринные дни ООН, не принято ни писать, ни говорить. Однако было бы глупо предполагать, что поляки могут забыть подвиги гитлеровской Германии в Польше в 1939-1944 годах или что немцы постараются не вспоминать подвиги марксистской Польши на востоке Германии в 1944-1947 годах. Что д-р Шумахер забудет подвиги геноссе Пика, венгры -- демократизацию по "восточному образцу", "королевские сербы" -- ген. Михайловича, красные испанцы -- подвиги Франко и белые испанцы -- подвиги красных.

В юбилейный 1900 год все это показалось бы совершенно неправдоподобной ерундой. Но все это стало реальностью. Неправдоподобная реальность при необходимости должна иметь неправдоподобное объяснение.

По-видимому, самым неправдоподобным из всех объяснений будет рождение социализма просто-напросто из сексуальной неполноценности, из вечной обиды сексуально ущемленного homo sapiens, ненавидящего Господа Бога именно за эту обиду, но ненавидящего и все остальное в мире. Сейчас социализм предпочитает не вспоминать о тех двух тысячах лет своей пропаганды, когда "обобществление жен и детей" стояло на первом месте всех социалистических программ. Обобществления и женщин и имущества, по понятным соображениям, добиваются прежде всего те, у кого нет ни того, ни другого -- пролетарии кармана и санкюлоты пола. И они, от Платона до Гитлера, шли в атаку не только против карманов, но и против женщин. Не только и не столько против "частной собственности", сколько против семьи. Импотенты стояли у философских истоков социализма -- импотенты стали и на верхах революционной власти. Великий и многоликий урод отравил все источники человеческого бытия и основу всего -- религиозный инстинкт. Евангелие Блага, Весть любви заменены полными собраниями учебников ненависти: расовой, классовой, национальной, групповой и какой хотите еще.

Философия, "душа пролетариата" и идейная основа всякой революции, объявила войну Евангелию -- больше ей ничего не оставалось. Европа продала душу свою духу безбожия, и Европе были обещаны все блага мира. Европе были обещаны "все блага мира" -- в обмен на ее душу. Душа была продана. Сейчас Европа, как Иов, сидит на гноище и черепками отскребаёт язвы свои. Философия

материализма опустошила души всего нынешнего поколения, но материальная компенсация за проданную душу была выдана черепками. Ни душ, ни калорий.

Почти две тысячи лет тому назад некий -- сейчас основательно забытый Автор -- предупреждал нас: "Берегитесь волков в овечьей шкуре -- по делам их узнаете их". Мы не послушались. Мы объявили забытого Автора агентом капитализма, защитником реакции, пропагандистом опиума, суеверия, невежества и чепухи. Теперь волки пришли.

Для всех нас, для всего человечества, вопрос заключается в том, удастся ли нам вернуться к забытому Автору или весь мир пойдет по стопам Европы. С той только разницей, что социалистическую Европу пока что кормит и спасает от окончательного взаимоистребления капиталистическая, реакционная, монополистическая, философски невежественная Америка. Но что будет, если Америка пойдет по путям философии? Кто тогда положит кусок хлеба в протянутую через океан руку строителей невыразимо прекрасного, философски социалистического будущего? Атомистическая философия празднует у нас свою победу: человечество -- европейское человечество превратилось в атомизированные кучи никакими заповедями не связанных людей. Что будет, если и Америка пойдет по этому пути?

Тогда остается одно, только одно утешение: строители невыразимо прекрасного будущего съедят самих себя. Они вырежут друг друга до последнего. Будущим богословам они дадут недостающее доказательство бытия Божия: жизнь без Бога оказывается невозможной. Это будет великое утешение для тех, кто до него доживет...

ВОЛКИ, ШКУРЫ И ФАКТЫ

Мир нуждается в мировом правительстве. Но еще больше мир нуждается в мировой организации всеобщего обезвздоривания. Ибо если тот вздор, которым питалась и пропиталась Европа последней эпохи, не будет смыт, не поможет никакое мировое правительство. Есть один и только один способ ликвидации этого вздора: победа репортажа над философией, реальности над схоластикой, то есть фактов над вымыслами. Если мы отбросим в сторону всякую философию, то общая линия общественного развития Европы последних ста лет станет совершенно очевидной и совершенно бесспорной. Эта линия протягивается так.

Из утопических мечтаний философов, начиная от Платона и кончая Беллами и Марксом, вырос "научный социализм" -- наука о том, чего в природе не существует. Или по крайней мере не существовало до 1917 года. Из научного социализма зародились его практические деятели, заседавшие за столами международных социалистических конгрессов и обещавшие нам, маленьким людям мира сего, кучу всяких благ: мир, хлеб, свободу и всяческие остальные производные мира, хлеба и свободы. До первой мировой войны во всех странах Европы медленно, но верно шли к власти социалисты. После первой мировой войны, использовав европейскую катастрофу и прорвав последние проволочные ограждения капиталистических и прочих старых режимов, социалисты к власти пришли. В континентальной Европе не осталось ни одного НЕсоциалистического правительства. Перечислим по пальцам.

В России к власти пришел Владимир Ленин -- член российской социал-демократической партии большевиков.

В Польше -- Иосиф Пилсудский, член польской рабочей социалистической партии.

В Венгрии -- Бела Кун, член венгерской рабочей социалистической партии.

В Германии -- раньше Эбер, член германской социал-демократической рабочей партии, а потом Адольф Гитлер, член германской национал-социалистической рабочей партии.

В Чехии -- Ян Масарик и Эдуард Бенеш, члены чешской рабочей социалистической партии.

В Италии -- Бенито Муссолини, член итальянской социалистической партии.

Во Франции -- Леон Блюм и прочие члены французских социалистических партий.

В Бельгии -- Эмиль Вандервельде, член бельгийской рабочей социалистической партии.

Романовы и прочие, сидя на своих престолах, не обещали, собственно, ровным счетом ничего и никакого рая нигде не проектировали. У них были и полиция, и тюрьмы, и армии. Они вели войны. Они занимались "империализмом" и "национализмом". Ни на одном европейском престоле не сидело ни одного гения. В Европе не голодал никто. Никого без суда не расстреливали. Мы можем утверждать, что при Романовых и прочих в Европе все-таки было плохо. Но никогда невозможно отрицать, что при "пролетариях всех стран" в той же Европе стало безмерно хуже. Когда эти пролетарии к власти шли, они, в начале прочего, клялись и солидарностью всех народов. Придя к власти, каждый социалист заявил, что каждый другой социалист есть: предатель рабочего класса, социал-согласатель, изменник социализму, кровавый фашист, кровавый тоталитарист и вообще сволочь, которую, по мере возможности, нужно зарезать. Настоящий же социалист -- это только "Я", единственный, неподражаемый, гениальный и гениальнейший. "Государство -- это я". "Социализм -- это тоже я". Нет Бога, кроме социализма, и Сталин (Муссолини, Гитлер, Бенеш, Блжм и пр.) единственный пророк его. В Европе началась эпоха всеобщей пролетарской резни.

Будущие профессора университетов и ученики средних учебных заведений так, вероятно, и не смогли понять, из-за чего, собственно, Сталин зарезал Троцкого, Гитлер -- Рема, Муссолини -- Матеотти и несколько миллионов одних социалистов -- несколько миллионов других социалистов. Кто в том же 2000 году сможет провести грань, отделяющую истинный социализм от не совсем истинного? В различных странах Европы к власти пришли все-таки разные люди. Отделяя "западный" социализм от его "восточного" собрата, можно, например, сказать, что западные социалисты предпочитали запускать в банковские портфели свои невооруженные руки: становились министрами и получали мзду. Восточные предпочитали action directe. Два самых прекрасных Иосифа мировой истории -- Иосиф Сталин и Иосиф Пилсудский промышляли "экспроприациями" -- так по тем временам называли вооруженный грабёж под фирмой идеологии. Иосиф Сталин возглавлял кавказских гангстеров, и самым крупным его подвигом было ограбление тифлисского казначейства, во время которого взрывом бомбы было убито несколько десятков случайных людей и было похищено что-то около двухсот тысяч рублей -- царским золотом, не сталинскими кредитками. У другого Иосифа -- Пилсудского масштабы по тем временам были скромнее: при вооруженном нападении на почтовый поезд на ст. Безданы было убито всего только два почтовых чиновника и украдено что-то около десятка тысяч рублей. Оба Иосифа сидели в той же царской ссылке, заседали или пытались заседать на тех же социалистических конгрессах и вообще клялись в вечной пролетарской солидарности. Потом пути их несколько разошлись. Один Иосиф стал гением в Варшаве, другой Иосиф стал гением в Москве. Один из сподвижников польского гения -- тоже поляк Феликс Дзержинский остался в ленинско-сталинском лагере. И стал основателем ВЧК, потом -- ОГПУ и теперь -- МВД. Другие последователи польского гения основали в Польше диктатуру так называемых "пилсудчиков". Социалистические наследники Дзержинского расстреляли в Катыни десять тысяч пленных социалистических наследников Пилсудского. И свалили вину на социалистических последователей Гитлера. Социалистические последователи Гитлера расстреляли несколько миллионов социалистических последователей Пилсудского и Сталина. Пролетарии СССР уморили голодом около двух миллионов пленных немецких пролетариев. Трудящиеся Польши отправили на тот свет какое-то еще нам неизвестное количество немецких трудящихся, проживавших восточнее линии Одер -- Нейсе. В настоящий момент все эти варианты социалистической солидарности остановились на линии Эльбы. Но это не потому, что к западу от Эльбы начинается психология социализма по западному образцу, а потому и только потому, что к западу от Эльбы господствует капиталистическая полиция США и Англии.

Люди, говорящие о демократии по восточному образцу и о демократии по западному, склонны начисто забывать о наличии в Европе капиталистических вооруженных сил -- сил Америки и Англии и о том факте, что граница "западной" и "восточной" психологий совершенно точно определяется границей оккупационных зон.

Человеческая память вообще очень несовершенное орудие познания мира.

Позднейшие итальянские фашисты начисто забыли, что, отправляясь в свой всемирно-исторический поход в Рим, Муссолини требовал решительно того же, чего требовал Ленин, отправляясь в немецком поезде и на немецкие деньги в свой тоже всемирно-исторический поход на Петербург: национализации крупных банков и заводов, ликвидации армии и дворянства, созыва итальянского учредительного собрания как секции всемирной социалистической конститутанты. Недавний министр иностранных дел той же Финляндии м-р Таннер в свое время скрыл в своем доме товарища Сталина -- во время его очередных самовольных отпусков из царской ссылки. Во время "зимней войны" 1939-1940 года м-р Таннер пытался умиловить товарища Сталина тем благодарственным письмом, которое Сталин ему в свое время прислал. Письмо не помогло. Дороги "пролетариев всех стран" стали расходиться. Так, товарищ Пилсудский, придя к власти, заявил делегации своей партии (делегация пришла поздравить его с победой, которую генерал Вейган одержал над армиями товарища Ленина):

-- А теперь прошу называть меня не товарищем, а паном маршалом.

Делегации это не понравилось, но протестовать она не посмела. Потом пути разошлись еще дальше. Пан маршал остался у власти, а товарищи социалисты поехали в концентрационный лагерь Катуз-Березу -- польский социалистический вариант Дахау и Соловков. Там их вешали, секли розгами и заставляли есть нечистоты. Пан Пилсудский также присвоил себе чужую победу и чин маршала, как это сделал и товарищ Сталин. Братскую социалистическую резню он начал гораздо раньше, чем начал ее товарищ Сталин. В последующем ходе событий Муссолини и Гитлер "своровали" систему Ленина и Сталина. Однако еще не ясно, в какой именно степени Ленин и Сталин обворовали Пилсудского? Первая братская резня, первые концентрационные лагеря и первый чин вождя и маршала -- все же это возникло в Польше. Первая социалистическая тайная полиция -- ВЧК была организована, хотя и в России и по русским чертежам, но все-таки двумя поляками -- Дзержинским и Менжинским. Техника власти, как и техника вообще, осталась, по-видимому, единственным звеном, объединяющим пролетариев всех стран. Все остальные звенья лопнули.

Победители над Европой двадцатых и тридцатых годов были разные люди, с разными индивидуальными наклонностями, выросшие в разных национальных традициях, попавшие в разные экономические и политические условия. Одни из них успели дорваться до настоящей власти, как Ленин, Сталин, Муссолини, Бела Кун, Пилсудский и Гитлер. Другие до настоящей власти еще не дошли, застряв где-то на полдороге компромисса с буржуазным уголовным правом. "Керенский период" социалистической революции продлился в Польше недели две, в России -- месяцев восемь, в Германии лет пятнадцать, во Франции он тянется лет пятьдесят. Чем кончится французский? Французский Ленин, по-видимому, опоздал.

Все эти люди, конечно, разные. Но все они были социалистами. Все они опирались на социалистические, пролетарские партии. Все они говорили одним и тем же языком и все они обещали одно и то же. За спиной их всех стояла несколько по-разному сформулированная, но одна и та же "научная теория". Идя к власти, эти люди в обещаниях не стеснялись никак. Придя к власти, они перестали стесняться чем бы то ни было. Может быть, по некоторым деталям полемики между Робеспьером и Дантоном, Вольтером и Руссо, Гегелем и Шеллингом, Марксом и Бакуниным можно было бы заранее догадаться о той перевозданной, стихийной ненависти, которая клокочет в каждой душе каждого истинного революционера? Каким-то таинственным образом "наука" этой ненависти не заметила. А может быть, не хотела заметить? Бакунин и Маркс ненавидели друг друга лютой личной ненавистью. Такое сквернословие, каким они осыпали друг друга, невысказано ни в какой буржуазной печати.

Гуманитарная наука завязывает себе правый глаз, чтобы все видеть только с левой точки зрения. Стоя вот на этой точке зрения, "наука" видела все обещания грядущей солидарности и отказалась видеть, а тем более показать нам те моральные свойства революционных вождей и армий, которые совершенно ясно видны были и сто лет тому назад. Европейская гуманитарная наука изучала декорации и декламации. И тщательно, в меру всех своих наличных сил постаралась скрыть от всех нас то, что скрывалось за декоративно-декламационной вывеской революционного притона. Теперь вывеска сорвана, и притон виден во всей его кровавой отвратительности. Постараемся по этому поводу забыть все то, о чем говорила нам "самая современная наука",

и вспомнить о том, что сказал нам забытый Автор, никогда ни на какую научность не претендовавший: "Берегитесь волков в овечьих шкурах -- по делам их узнаете их!"

Сейчас шкуры сняты все. Реальность обнажена так, как не была обнажена, может быть, никогда в истории человечества. Для всякого вождя и для всякой шкуры техника современной "науки" еще может подыскать достаточно жуликоватые объяснения. Но вся сумма обещаний, вождей, шкур и реальности так удручающе очевидна, так безнадежно бесспорна, что, может быть, совет забытого Автора мы примем, наконец, всерьез. И будем судить: слова -- по словам и дела -- по делам.

ВОЛКИ И ОВЦЫ

Я не хочу утверждать, что все социалисты Европы были волками в овечьей шкуре. Их подавляющее большинство состояло из баранов в волчьих шкурах. Эту последнюю категорию лучше всего персонифицировать в А. Ф. Керенском, "первенце русской революции" и первом социалистическом премьер-министре русского революционного правительства. Его имя, может быть, и без какой бы то ни было личной вины с его стороны, стало исходным пунктом для всякого рода презрительных неологизмов: "керенки", керенщина" -- символ чего-то бессильного и бестолкового. Сидя на министерском посту, Керенский произносил речи, переполненные клятвами и угрозами: он не допустит, он не потерпит, он раздавит, он будет стоять до последней капли крови. Ленин не произносил почти никаких речей, а Сталин и вовсе никаких. Словом, Керенский говорил, а Ленин и Сталин оттачивали свои зубы без речей. И когда дело дошло до зубов, то Керенский сбежал без всякого пролития крови -- по крайней мере, своей.

Приблизительно по той же схеме сняли свои революционные боевые шкуры германские социал-демократы, итальянские социалисты всех оттенков, польская социалистическая партия, чешская социалистическая партия и многие другие. Иногда это носило отпечаток трагедии. В большинстве случаев это оказалось фарсом. В сумме это привело к катастрофе.

Находясь в здравом капиталистическом уме, трудно, собственно, представить себе как эти люди могут верить тому истинно вопиющему вздору, который обещали им торговцы невыразимо прекрасным будущим? Лев Троцкий обещал всякому комсомольцу гений Платона или Аристотеля. Лабриола и Каутский не очень отставали от Троцкого, или, точнее, Троцкий слегка обогнал их. Ленин в "Правде" в 1922 году писал о том, что лет через десять научного социалистического, то есть ленинского, строя люди будут работать по несколько часов в день и только несколько лет в своей жизни, лет этак пять--десять. На ту сумму материальных благ, которые они по социалистической системе успеют произвести за эти немногие часы и годы своей работы, они смогут спокойно наслаждаться всей своей остальной жизнью, жить в Давосе или Ницце, в Крыму или где им будет угодно, и социалистическое правительство будет добросовестно и аккуратно высылать им их социалистическую ренту. Я никак не могу себе представить, чтобы Троцкий, Ленин и Сталин верили хотя бы единому слову, с которым они обращались к "массам"...

К вопросу о первом социалистическом соревновании в истории -- о соревновании в обещаниях я вернусь несколько дальше. Пока желательно установить тот факт, что волки в овечьих шкурах, обращаясь к баранам в юбках и штанах, сами попадали в условия жесточайшей конкуренции -- именно она привела позже к взаимоистреблению. Каждый из вождей больше всего боялся, как бы не оказаться "отсталым", как бы его не опередил его более левый конкурент. Боязнь оказаться несколько правее откровенно сумасшедшего дома определила собою весь ход европейской демагогии. Вождь Номер Первый предлагал трехчасовой рабочий день. Вождь Номер Второй был вынужден предложить двухчасовой. Вождь Номер Первый обещал невыразимо прекрасное будущее на послезавтра. Вождь Номер Второй вынужден обещать его на завтра. В общем, как показала практика, побеждали люди, обещавшие все и на сегодня вечером. "Муки рождения" на несколько часов и невыразимое блаженство до

скончания мира... Впрочем, даже и "муками рождения" должны были расплачиваться эксплуататоры. "Угнетенные" не теряли и теоретически не могли потерять ничего, "кроме своих целей". Так говорил Маркс. Приблизительно то же говорили и остальные.

Гениальность Аристотеля и Платона, обещанная товарищем Троцким комсомольцам, летающие тигры, обещанные ситуайеном Фурье французским баранам, Давос и Ницца, обещанные Лениным русским ягнятам, -- все это можно считать крайностью, преувеличением, вообще чем-то вполне укладывающимся в некую среднюю схему социалистических обещаний и программ. Как, с другой стороны, можно считать некоторой социалистической крайностью английских фабианцев, обещавших рай земной этак лет через пятьсот. Или через пять тысяч. Фурье с его летающими тиграми и Эттли с его национализацией железных дорог можно считать самым левым и самым правым флангами общей социалистической линии. Как я уже говорил, м-р Эттли в своей политике ничем существенным не отличается от Николая Второго (Кстати, в стране м-ра Эттли в августе 1947 года происходили еврейские погромы, так же как в стране Николая Второго в 1907 году. В обоих случаях подонки городов громили консервативное еврейство за преступления еврейских подонков -- Бунда в России и Иргун Цво Леуми в Палестине. -- Авт.), так же как Фурье ничем не выделяется из среднего уровня психиатрической больницы.

Эттли и Фурье мы можем считать нетипическими явлениями. Но были даны обещания, подписанные всеми социалистами мира. Вот эти обещания:

Мир между народами.

Мир и свобода внутри каждого народа.

Отмена смертной казни.

Невиданный рост всяческого благополучия.

Невиданный расцвет всяческой культуры.

При всяких поправках на человеческие слабости и ошибки, страсти и пороки дела всех этих людей стали сейчас совершенно наглядными, абсолютно бесспорными для каждого человеческого существа, наделенного нормальными человеческими глазами и нормальной человеческой совестью. Отпадает даже ссылка на всякие локальные или хронологические случайности: во всех странах, где люди пришли к власти, ход событий развивался с истинно железной закономерностью.

По пункту первому: о мире.

а) Всеобщий мир начался с организации целого ряда гражданских войн: в России, в Германии (Баварская советская республика), в Венгрии (Венгерская советская республика), в Китае, в Финляндии, Испании, Австрии, Италии, Болгарии и прочих. Сорвались попытки организации гражданской войны в Англии (забастовка 1926 года) и в США (демпинг для поддержки кризиса).

б) В тех странах, где гражданская война закончилась победой одной из философий -- в России, Италии и Германии, после уничтожения буржуазных конкурентов в борьбе за власть победители стали истреблять социалистических конкурентов. Истребив социалистов всех иных партий, они стали истреблять конкурентов в своей собственной.

в) Истребив внутри своих стран своих домашних конкурентов, все победившие вожди всего обновленного человечества начали судорожно готовиться к истреблению внешних. Начав свои карьеры с протестов против империализма, вооружений, постоянных армий и "милитаризма", СССР, Германия и Италия начали в мирное время ковать оружие в масштабах, никогда невиданных ни при каком капитализме. Вся жизнь народов победивших социалистов оказалась подчиненной режиму казармы и военного завода. Подготовка СССР к "тотальной войне" началась за шесть лет до прихода к власти Адольфа Гитлера, когда ни с какой стороны ни о какой угрозе для СССР не могло быть и речи. Там, где победившие социализмы воевать не собирались или не могли, они всеми силами старались спровоцировать чужие войны. Так, СССР своим договором с Гитлером спровоцировал нападение Германии на Польшу, Германия всей своей политикой толкала на войну Японию, Италия вооружила абиссинских "расов", и все три системы старались по мере своих сил увеличить хаос во всем остальном мире. Договором 23 августа 1939 года Советская Россия обязалась снабжать Германию хлебом, нефтью, марганцем и, в особенности, смазочными маслами, так

необходимыми для войны против демократий. Через неделю после этого договора Германия начала войну. Сейчас Советская Россия разжигает войны в Китае, на Балканах, в Индонезии и Индокитае, открыто или скрыто стоит за спинами тех пролетариев всех стран, которые в простоте душ своих полагают, что обилия хлеба, масла, штанов, жилищ и безопасности проще всего достигнуть путем прекращения работы.

Итак, обещания всеобщего мира были реализованы сначала в виде гражданских войн в своих собственных странах, потом в попытках организации гражданских войн за границей, потом в превращении своих собственных стран в сплошные вооруженные лагеря, потом в провокации всяких войн в мире, потом в виде второй мировой войны и сейчас в виде подготовки к третьей мировой войне.

По пункту второму: о свободах.

а) Организация всяческих свобод, прокламированных в течение столетий, началась с устранения всего населения всех последовательно социалистических стран от какого бы то ни было участия в решении своих собственных судеб. "Волю народа" заменила воля вождя, повелевающего единой партией, проводящего свою политику путем беспощадного подавления и массы, и ее мнений, и ее интересов.

б) "Всеобщее, равное, прямое и тайное" избирательное право, только еще вчера прокламированное всеми социалистическими партиями, превратилось из права в повинность, выполняемую надзором тайной полиции.

в) Все органы самоуправления и даже самообслуживания заменены централизованной бюрократией, подчиненной полиции, партии, вождю. Все население страны подчинено полицейскому участку, который хуже всякого иного в мире хотя бы по одному тому, что никакой иной полицейский участок в мире не наделен такой властью, какую наделен социалистический.

г) Гласный суд заменен тайными судилищами, и их произволу отдан каждый гражданин страны -- от пастухов до министров. От свободы слова, совести, союзов и прочего не осталось ни следа: "вся власть трудящимся" оказалась властью над трудящимися.

д) Однако все это есть не только лишение свободы, не только запрет сочувствия какому бы то ни было иному общественному строю, кроме декретированного Вождем, это, сверх того, есть поддерживаемое террором принуждение этому строю сочувствовать, его укреплять и его всячески восхвалять. Человек, который в Германии, Италии или СССР стал бы восхвалять Рузвельта или Черчилля, был бы расстрелян. Но рано или поздно попадают под расстрел и люди, которые уклоняются от восхваления Сталина, Гитлера или Муссолини. От "трудящихся" победивший социализм потребовал не только отказа от свободы -- от всякой свободы. Он, трудящийся, кроме того, обязан под угрозой гибели ежедневно демонстрировать свое восхищение режимом голода, рабства, унижения всякого человеческого достоинства.

Итак, в результате победы философски обоснованного и научно неизбежного прекрасного будущего люди не только не получили новых свобод, но оказались лишенными и тех, которые они имели при "реакционных режимах" Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов и других. Им, трудящимся, было сказано, что им нечего терять, кроме цепей. Они получили только цепи. И их, под угрозой смерти, заставляют эти цепи славословить и целовать.

По пункту третьему: о процветании.

а) Россия, первая вступившая на путь последовательного социализма, из недавней житницы Европы превратилась в страну хронического голода, который временами обострялся до людоедства. Американская администрация помощи (АРА) точно так же снабжала умирающих от голода детей социалистической России капиталистическим продовольственным пайком, как сейчас другая американская организация -- УННРА снабжает тем же пайком тех же социалистических детей, только уже не одной России, а всей Европы. Вместо хлеба трудящиеся России получили военно-каторжные заводы, трудящиеся Германии -- пушки вместо масла и трудящиеся Италии -- Абиссинию вместо макарон.

б) За хлебным голодом последовали и все остальные мыслимые его разновидности: жилищный, топливный, одежный, бумажный, культурный и прочие. Жизнь постепенно стала приближаться к идеалу тюрьмы, основанной на принципах самоснабжения, какими были тюрьмы Древнего Востока.

в) Вся хозяйственная жизнь всех революционных стран оказалась

направленной вовсе не к удовлетворению потребностей трудящихся, а к насыщению воли к власти Вождя и жажды привилегий правящей партии. Все строилось для власти, то есть для войны. Трудящимся оставались только обеды.

г) Сельское хозяйство подорвано на десятилетия: скот вымер, поля засорены, леса вырублены, ликвидированы самые хозяйственные элементы. Разгромлены ремесла, росшие веками. В СССР в 1935 году правительство уже не смогло найти людей, еще сохранивших технику кустарного художественного ремесла. В Германии нет молодежи, которая могла бы принять на себя наследство старинного и высококвалифицированного немецкого ремесла. Но созданы ни для какой нормальной жизни ненужные гиганты военной промышленности и воспитаны миллионные кадры ни для какой нормальной жизни ненужных людей: сыщиков, плановиков, председателей колхозов или бауэрнфюреров, красных директоров, или трейндеров, пропагандистов и лжецов, философов диалектического материализма и профессоров гегелевской диалектики; воспитаны десятки миллионов молодежи мужской и даже женской, которые ни на что, кроме войны, негодны и которые ничего, кроме ненависти, не знают. Вся хозяйственная жизнь всех революционных стран подчинена полностью интересам слоя подонков, паразитирующих на хозяйственном строе возведенном на самых современных философских и идиотских основаниях. Этот слой не производит ничего. Но он и другим ничего не дает производить.

Итак, общественный строй, воздвигнутый на основах материалистической философии -- разных материалистических философиях, -- привел прежде всего к такой материальной нужде, которая грозит если не вымиранием, то по крайней мере физическим, моральным вырождением целых племен, слоев и народов. Жалкие крохи лабораторных достижений тоталитарной науки бесследно тонут в болоте полного и всеобщего хозяйственного развала.

По пункту четвертому: об отмене смертной казни.

а) Начав свои карьеры с протестов против смертной казни как против варварской системы наказания, победившие социалистические партии ввели смертную казнь сначала для своих классовых врагов, потом для своих соперников по социализму, потом для своих товарищей по партии, потом для своих политических братьев (Бухарин и Рем).

б) Смертная казнь введена для всего населения страны в том числе для женщин и детей. В СССР смертной казни подлежали дети старше 14 лет. Она применяется по поводам, по каким не применялась никогда и нигде в мире. Все варианты "саботажа", "вредительства", "измены народу" и прочего в этом роде караются смертной казнью. И германская, и русская революции казнили смертью детей, которых эти же революции лишили семьи, хлеба и Бога. Но эти же революции казнят и самих себя: принцип истребления доведен до логического конца.

в) Смертная казнь получила массовое применение. И в этом своем новом качестве она превратилась в орудие физического истребления целых слоев, наций, классов и рас. В России действует по преимуществу классовый принцип, в Германии действовал по преимуществу расовый. Но человеку, которого ведут на казнь, решительно все равно, на эшафоте какой философии отправят его на тот свет: на основах Гегеля, стоящего на своей собственной голове, или на основах Маркса, поставившего гегелевскую философию с головы на ноги.

г) Истребляя враждебные классы или расы, победивший социализм обескровливает и свои собственные. Как общее правило, истребляются лучшие представители народа и класса: те, у которых осталась воля к свободе, воля к сопротивлению, у которых остались талант, инициатива, совесть, нормальный человеческий здравый смысл. Остаются жить пресмыкающиеся. Истребляется все то, что возвышается над пресмыкающимся уровнем. Истребляются лучшие гены грядущих поколений.

д) Наконец, как завершение карательной и истребительной системы социализма введен институт заложников. Каре подлежат не только виновный, но и его семья. Или, иначе, наказанию подлежат заведомо невиновные и ни в чем не обвиняемые люди. Это -- самая сильная сторона тоталитарных режимов. В очень многих сердцах есть достаточное количество мужества, чтобы смотреть в глаза собственной смерти. Но почти невозможно идти на свою смерть, зная, что за ваше преступление или за ваш подвиг власть будет пытаться или вашу мать, или вашу дочь. Институт задолжников связывает лучшую часть нации -- ту,

которая готова жертвовать своей жизнью, но которая останавливается перед жертвой жизнью своих близких.

Итак, смертная казнь вошла в обиход, стала основным стержнем устрашения масс и удержания власти. Террор всякой революции -- французской, немецкой и русской -- направлен не только против классовых или расовых врагов, он направлен против всей нации, а в перспективе -- против всего человечества. Владыки последовательно революционных стран -- Робеспьер, Сталин, Гитлер ввели террор вовсе не для того, чтобы удовлетворить свою собственную кровожадность, и вовсе не для подавления расовых или классовых врагов народа. Вся конструкция революционного и тем более социалистического общественного строя является противоестественной конструкцией и поэтому может быть поддержана только противоестественными мерами. Из всех этих мер смертная казнь является основной мерой. И смертная казнь становится альфой и омегой внутренней политики социализма.

По пункту пятому: о культуре.

Если вся хозяйственная жизнь страны подчинена закону убийства -- террору и войне, то вся духовная жизнь подчинена закону ненависти. На ненависти никакой культуры создать нельзя. И если материальная культура кует оружие для мировой власти Робеспьера -- Сталина -- Гитлера, то этому же требованию должна удовлетворять и духовная культура. Писатели подвергаются цензурным и всяким иным преследованиям не только за то, что пишут, но и за то, чего не пишут. Всякое творчество превращается в проституцию, отказ от которой оплачивается гибелью. Советский сатирик М. Зощенко в течение почти четверти века держался на литературной поверхности СССР. Он никак не протестовал против власти. Он сатирически клеймил всякую "мелкобуржуазную психологию", которая таким камнем преткновения валяется на шоссе к невыразимо прекрасному "послезавтра". М. Зощенко -- это только третий сорт литературы, первые два сорта вымерли давно. После войны и опьянения победой даже эта литература показалась излишней. М. Зощенко подвергли "чистке", заставляли каяться и унижаться и перейти на описания "героев сталинской стройки". Так умирает великая русская литература. Так же умерла и поэзия: два крупнейших поэта советских времен -- Есенин и Маяковский покончили жизнь самоубийством. В операх и симфониях партийные бюрократы находят "партийные уклоны". Химики Ипатьев и Чичибабин сбежали из СССР. Работник в области физики атома -- проф. Капица бежал раньше, но был заманен в СССР, и его заставляют работать на разложение атома для сталинских атомных бомб. Из всего того, что мы привыкли называть культурой, остались только: пропаганда мировой власти Вождя и техника, нужная для завоевания этой власти.

Организационная сторона культуры оказалась ниже средневековой. Средневековый школяр мог кочевать из Пражского университета в Сорбоннский и из Падуанского в Гейдельбергский -- и он был в курсе всей современной ему человеческой мысли. Сейчас каждый схоласт каждой секты социалистического богословия отделен непроницаемым "железным занавесом" от всего остального мира.

Так, все население "третьего рейха" было совершенно убеждено, что вторая мировая война была проиграна исключительно в результате предательства, "удара в спину" -- "дольхштосса". Так, население СССР воспитывается в представлении, что американский рабочий голоден и бесправен. Население СССР, Италии и Германии воспитывалось в том представлении, что весь остальной мир -- некоммунистический, нефашистский, нетоталитарный, а мир демократии, плутократии капитализма и прочего прогнал окончательно, разложился морально и физически и ждет только толчка со стороны Муссолини -- Гитлера -- Сталина, чтобы рухнуть в могилу. Два толчка уже были даны. Два тоталитарных строя уже рухнули в могилу. И на этих могилах уже растут зеленые побеги неофашизма и неонацизма. Ибо в Германии и в Италии еще остались люди, которые при Гитлере и Муссолини были "всем", а теперь стали черт знает чем. Такие же люди останутся и в России после толчка, который Сталин даст капиталистическому миру. Именно поэтому никакая грязь, вонь и кровь революции не создаст никакого иммунитета. Всегда остаются люди, которые питались этой грязью, вонью и кровью и которые ни для чего больше в мире не нужны. Они уже создают теорию неизбежности германской победы в 1945 году, сорванной "дольхштоссом" генеральского заговора 20 июня. Это они создают в России теорию "вот-вот" -- Советская Россия "вот-вот" доходила до

вознаграждения за все жертвы предыдущих лет, до сбора урожая, посеянного годами лишений и страданий, и в этот самый момент капиталисты, испугавшись невиданного в истории человечества расцвета СССР, организовали какой-то подвох вроде "дольштосса", заговора, измены и прочего. Давайте, дорогие ситуайены, геноссе и товарищи, начинать сызнова! Может быть, и в самом деле начнут сызнова: французские санкюлоты начинали сызнова раз пять.

Все то, что я здесь перечислил, ясно до степени абсолютной бесспорности. Из всех обещаний социализма не вышло ничего. Самая капиталистическая страна мира -- США является самой свободной, самой сытой страной. Самая социалистическая страна -- СССР является самой поработанной и самой голодной. Но никакая очевидность не действует на человека, профессионально заинтересованного во лжи. И очень мало -- на людей, в этой лжи воспитанных. Пролетарии Европы докатились до уровня питекантропии. Им есть нечего. Им жить негде. Но они твердо убеждены в том, что именно в этот момент нужно возможно меньше работать и возможно больше получать. Французские горняки оставляют французских банковских чиновников без топлива, те оставляют горняков без заработной платы. Американские моряки оставляют русских горняков без хлеба, русские горняки оставляют немецкую промышленность без угля, немецкая промышленность оставляет немецкого мужика без горючего, машин и удобрений, и немецкий мужик оставляет немецкую промышленность без хлеба. Так соединяются пролетарии всех стран.

ВОСТОК И ЗАПАД

В реакционную эпоху истории, закончившуюся 1914 годом, Европа имела время думать. Немецкий бюргер, французский ситуайен, русский интеллигент за кружкой пива, стаканом вина или рюмкой водки имели возможность обсуждать и даже обдумывать факты, идеи и программы. Вы можете сказать, что этой свободой Европа воспользовалась плохо, и вы будете правы. Но во всяком случае, в Европе были люди, которые пользовались своей головой не только для ношения головного убора. Кое-какие остатки этих людей прозябают, вероятно, и сейчас, смятые победоносным маршем. Не знаю, есть ли у них время думать сейчас. Воюсь, что нет.

Европа переживает полосу хронических землетрясений. Во время землетрясения думать, вероятно, очень трудно. Homo sapiens, ныне населяющий европейские территории, если и думает, то только узко практически, где достать кусок хлеба, вязанку дров и окурки папиросы. Да и это примитивное мышление заглушается ревом всяческих пропаганд, а также слухами, вносящими кое-какую, в общем все-таки здоровую поправку, в эти пропаганды. В катастрофические периоды личной и общественной жизни действуют не призывы к рассудку, действует вопль: то ли "ура", то ли "караул". Действует психология паники.

Из всей сложности психических и всяких иных стимулов, свойственных человеческому существу, остались почти исключительно хватательные инстинкты. Причем некоторая анемия мозгов приводит к тому, что люди хватают и то, что следовало бы хватать, и то, чего хватать вовсе не следовало бы. Польша хватается Штеттин, не дожидаясь "мирного договора". Советы нацеливаются на Северную Африку, Югославия -- на Каринтию, Торез -- на Рурский бассейн, бельгийцы, датчане, голландцы -- на какое-то "исправление границ". Немецкий мужик ворует по ночам союзное военное имущество, от которого никакого толку нет, но за которое можно угодить в тюрьму. Европа действует по правилам вольно-американской борьбы catch as catch can -- хватай, что можно, потом разберемся. Разбираться будет очень трудно.

По тому же принципу -- "хватай, что можно" люди ухватываются и за какие-то теории, идеи, термины и слова. Вероятно, не вполне отдавая себе отчет в том, что за эту "захватническую политику" потом придется кое-чем расплачиваться. Особенным разумом Европа не блистала и раньше, иначе бы нынешнего социалистического рая она не пережила бы. Но сейчас обращение с мыслью и словом приобрело такой характер, как если бы писатели, публицисты и

ораторы считали бы свои аудитории состоящими из сплошных кретин, людей безнадежно больных не только анемией мозгов, но и анестезией памяти.

Лидер германских социал-демократов д-р Шумахер в речах и статьях развивает такую мысль: предоставим Востоку свойственный ему тоталитарный режим. Мы же, европейцы, люди западной культуры, рождены демократами, а мы, немцы, передовой отряд западной культуры на Востоке, должны стоять на страже где-то то ли на Эльбе, то ли на Одере, то ли, может быть, на Висле -- д-р Шумахер предпочитает не выдавать военной тайны стратегической дислокации своих идей. Была германская "Wacht am Rhein", теперь будет что-то вроде "Wacht am Weichsel". Та же "культурная миссия на Востоке", которую оперировали и Вильгельм, и Гитлер, только средактированная на потребу эпохи разгрома, бессилия и унижения.

Эта тема варьируется не только на германских выгонах и пастбищах. Всеядное двуногое пережевывает эту тему и в других странах: "демократия по западному образцу" и демократия -- по восточному, славянство и германо-романский мир. Почти по Р. Кипплингу: "Запад есть Запад и Восток есть Восток, и никогда им друг с другом не сойтись". Люди с анестезированными мозгами глотают все это даже и без пережевывания, целыми глыбами.

Тоталитарный режим действительно существует и в СССР, хотя в 1914 году его так не называли ни немцы, ни союзники. Он существовал и на Западе: нельзя же считать Германию Востоком, Италию -- Азией, Испанию и Португалию -- выразительницей истинно славянского мировоззрения. Тоталитарная Франция Робеспьера и Наполеона стояла в центре, а никак не на границах тогдашнего культурного мира. И Сталин, и Гитлер строили свои режимы на принципе "государство -- это я". Принцип этот был средактирован никак не на Востоке. Марксистская философия, ныне безраздельно свирепствующая в России, была создана в Германии и Англии. Левиафан государственности, питающийся человеческой кровью, был обнаружен англичанином Гоббсом. Политическая техника тоталитарных режимов была разработана итальянцем Макиавелли. Самое умное, что по этому поводу можно было бы сказать, что всех нас во гречех родили матери наши и что все мы мазаны приблизительно одним миром. И болеем приблизительно одними и теми же болезнями, и что от тоталитарного сифилиса не застрахован никто.

Все это нужно бы считать совершеннейшей очевидностью: ни Сталин, ни Гитлер, ни Муссолини, ни Наполеон решительно ничего общего не имеют с Востоком, ни с Западом, ни с таинственной славянской душой грузинского происхождения, ни с норманнской душой австрийского, ни с французской душой корсиканского. И высказывания д-ра Шумахера есть абсолютный вздор. Но есть вещи несколько менее очевидные.

Тоталитарный режим в России возник в 1917 году. И так как воспоминания о Робеспьере уже исчезли из памяти просвещенной Европы, то можно сказать, что этот режим был нов и что люди, которые его строили или помогали строить, еще не знали, чем именно все это кончится.

Тоталитарный режим в Германии возник на 16 лет позже; русский опыт уже был налицо. И Ленин, и Гитлер ликвидировали не "старые реакционные режимы" -- оба они проломили черепа новорожденным демократиям -- русской и германской. Так вот, в защиту русской демократии много лет подряд велась жесточайшая в истории страны гражданская война. В защиту германской демократии не поднялся ни один штык.

Были ли белые русские генералы "реакцией" или не были, сейчас ответить на это нелегко. Но против Ленина восставали не только белые генералы: восстали кронштадтские матросы, ярославские и уральские рабочие, пытался восстать Всероссийский союз железнодорожников, и по всему пространству России в разное время и в разных местах восставало почти все русское крестьянство. Больше трех миллионов людей бросили свою родину, бежали в эмиграцию, где сидят и до сих пор вот уже тридцать лет.

Так русский ВОСТОК ответил на насилие над демократией. А как ответил германский ЗАПАД?

Принципы крови, в том числе и наследник престола: социал-демократы, в том числе и герр Лебе; коммунисты, в том числе и те из них, которые из рядов компартии перешли в ряды СС, а теперь вернулись обратно, -- почти вся Германия сказала Гитлеру zum Befehl! Вся Германия защищала Гитлера -- до последней капли крови в последнем подвале рейхсканцелярии. Красная Армия

стала защищать Россию, а следовательно, и СССР, а следовательно, и Сталина, только с того момента, когда выяснились цели Германии. Германская армия пыталась воткнуть нож в спину Гитлера только в момент, когда выяснился провал целей Германии.

Д-р Шумахер не имеет никакой возможности знать все это. Если предполагать, что докторский чин д-ра Шумахера не окончательно анестезировал его умственные способности, то можно было бы утверждать, что д-р Шумахер не имеет никакой возможности отделять тоталитарный режим от демократического географическими, национальными или расовыми границами. Но он это делает. Почти то же делал и Гитлер: на Востоке живет раса, привыкшая лобызать кнут. Сейчас в Берлине живет раса, устами Пика и Гротеволья лобызаящая серп и молот. В Париже -- раса, руками Тореза загребаящая московские чеки. Что есть Запад и что есть Восток? И какую границей мы можем отделить вздор от вздора, по крайней мере, не совершенно очевидного?

Сейчас, когда германский тоталитарный режим вопреки истинно героическому сопротивлению всей нации разгромлен извне, участники и наследники этого режима делают демократические постные лица и говорят, они тут ни при чем. Если бы они не вступили в партию, то они были бы обойдены очередным чином какого-нибудь рептилин-рата или доктора блудословия. Они, эти люди, совершенно искренни: если бы они не пошли в партию, их чины, карманы, гелтунгстиб и прочее, конечно, пострадали бы. Как же можно было поступить иначе? Я, Иван Солоневич, сидел восемь раз в тюрьме советского тоталитарного режима и два раза в тюрьме германского. Пойдя в компартию, я вероятно, мог бы получить чин какого-нибудь рептилин-пресс-шефа, -- я не пошел. Миллионы и миллионы других русских тоже не пошли. Десятки миллионов заплатили не только чином или карманом, но и жизнью. Какие выводы можно сделать отсюда о "расе рабов" и о "народе господ", о славянской склонности к тоталитарному режиму и о германской верности демократии?

Все это я пишу не для полемики с д-ром Шумахером. Он, надо полагать, знает свою аудиторию и, вероятно, точно оценивает ее глотательные способности. Да и сам д-р Шумахер является только производной величиной и аудитории, и всего того философского развития, которые почти всех нас привели к данному положению вещей. Данное же положение вещей, в частности, характеризуется тем, что культурной, просвещенной более или менее философски и социалистически настроенной аудитории можно предлагать любой мало-мальски мыслимый вздор, и она этот вздор проглотит. Человеческий здравый смысл не очень уж усовершенствован технически, но он может и он обязан отмечать, по крайней мере, совершенно очевидные вещи. Но, однако, вся сумма совершенного философского развития привела нас к тому, что именно самые очевидные вещи теряют не только очевидность, а и вообще признание их бытия, замазываются десятками лживых терминов, обходятся сотней окольных путей, теорий и вранья, и перед слушателями какого-нибудь д-ра Шумахера восстает картина мира, изуродованная в деталях и в целом. Только что вырвавшись из пролетарских объятий гитлеровского тоталитаризма, Шумахеры называют сталинский типично восточным явлением. Уровень жизни американского рабочего, поскольку его нельзя скрыть, в СССР объясняется так: подкуп капиталистами верхушки рабочего класса. Голод в СССР объясняется "наследием проклятого царского режима". Уход Англии из Индии -- попытками закабалить народы этой страны. Повальное прекращение работы пролетариями всех стран -- лучшим способом добывать возможно большее количество хлеба и пиджаков. И возникающий от всего этого голод -- саботажем со стороны мелкого собственника-мужика, который работает всего семь дней в неделю, который не имеет ни одного отпуска ни разу в десять лет и которого грабят все пролетарии решительно всех стран, -- это единственное, в чем они действительно идеологически едины вполне.

Все это кажется совершеннейшей нелепицей. Но даже и в этом есть свой смысл. Социализм -- настоящий революционный социализм, а не его фабианский раствор, ставит свою ставку на ненависть и ложь. Все остальное: "Восток" и "Запад", "подкуп рабочей аристократии", спасительность забастовок и прочее в этом роде являются только "идеологическими надстройками" в борьбе за ненависть против любви и за атеизм против Бога. Социализм обязан сеять ненависть, чтобы властвовать над ними, чтобы строить, как об этом говорил Достоевский, Вавилонскую башню без Бога и против Бога. Предприятие, в

конечном счете, безнадежное... Но именно эта линия предприимчивости объясняет нам существование троцких и сталиных, гитлеров и шумахеров, робеспьеров и торезов. Каждый из них, повторяя древнюю восточную формулу, считает, что "государство -- это я", все же остальные -- уклонисты, предатели рабочего класса, изменники социализма, узурпаторы и насильники.

О ПРОЛЕТАРИЯХ ВСЕХ СТРАН

Пролетарии всех стран сейчас командуют всеми странами Европы -- с небольшими поправками на американскую оккупационную армию, на генерала Франко и еще на два-три более или менее капиталистических островка Европы. Лозунг коммунистического Интернационала красуется на официальном Гербе СССР. Он же треплется и на знаменах тех партий, которые до государственного герба еще не доросли, но надеются, что дорастут. Автор этого лозунга Карл Маркс считается официальным святым не только для СССР, но и для д-ра Шумахера, Леона Блюма, кажется, даже и для м-ра Эттли. В 1947 году в британской оккупационной зоне праздновалось открытие музея в Трире, в том доме, где родился Карл Маркс. На торжестве присутствовали пролетарии почти всех европейских стран, кроме, кажется, СССР. Французские пролетарии жали руки немецким, чешские -- венгерским, другие -- другим. Но о некоторых вещах на этом празднике, кажется, не говорилось. Как в доме повешенного обычно не говорят о веревке.

Вожди пролетариев всех стран призывали пролетариев всех стран по меньшей мере к международной солидарности. Можно было бы отметить и тот факт, что испытания первой мировой войны эта солидарность не выдержала, пролетарии всех стран и представители пролетариев всех стран голосовали за военные кредиты, как это, например, сделала германская социал-демократия. Русская коммунистическая партия, тогда еще только левая фракция той же социал-демократической партии, имела все логические и моральные основания упрекать остальных социалистов мира в "социал-патриотизме", "социал-предательстве" и "социал-соглашательстве".

Тогда, в 1914 году, этот патриотизм, предательство и соглашательство могли бы быть оправданы наличием реакционных режимов Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов. Каждый социализм стремился свергнуть каждую реакцию, но главным образом соседнюю. Потом все реакции были свергнуты. Во всех странах Европы остались одни социалисты. Теоретически в 1918 году можно было бы предположить, что вот тут-то и наступило если уже не царство, то по крайней мере республика пролетарской солидарности. Неумолимая и неоспоримая практика жизни показала, что тут, как и решительно во всех иных отношениях, все, что произошло при революционных и социалистических режимах, было неизмеримо хуже всего того, что происходило при монархических и реакционных.

Старая, отсталая реакционная Европа, Европа королей, императоров и пап, воевала и даже завоевывала. Приблизительно тем же занимались, впрочем, и остальное человечество, в том числе и США. В ряду государств-завоевателей Россия, конечно, занимала первое место: двадцать два миллиона квадратных километров так же не свалились с неба, как не свалился и товарищ Сталин. Можно утверждать, что часть этих завоеваний носила вынужденно оборонительный характер, например, завоевание Крыма. Или даже завоевание Польши. Можно даже утверждать, что другая часть носила экономически принудительный характер, например, завоевание Балтики или Финляндии. Просто завоевательных войн, как известно, не ведет ни одно правительство мира. Каждая война или вызвана, или спровоцирована, или навязана. Обвинительные акты о завоевательных попытках представляются только побежденным нациям. "Победителей не судят", ибо судить их некому. Этот афоризм принадлежит Екатерине Второй, мелкой немецкой принцессе, ставшей путем мужеубийства и цареубийства почти тем же, чем сейчас является Сталин. Кстати, один из официальных эпитетов Сталина взят из словаря екатерининской эпохи: это ее придворная историография назвала "матерью народов". Сталин, соответственно, стал отцом. Стать матерью ему было бы затруднительно.

Екатерину Вторую, по официальной терминологии -- Вторую, судить было некому. Кажется, некому и до сих пор. При ней была разделена Польша, был завоеван Крым, были ликвидированы последние остатки монгольских орд, были нанесены сокрушающие поражения туркам. При ней закончилось закрепление русского крестьянства. Это был, быть может, самый блестящий век русской военной истории. И если исключить эпохи Петра и Сталина, то это были самые реакционные десятилетия русской исторической жизни: десятилетия дворянской диктатуры, омраченные страшным пугачевским восстанием.

При Екатерине Второй было совершенно величайшее внешнеполитическое преступление русской истории. Живое тело польской нации было разорвано на три части и поделено между Россией, Пруссией и Австрией. Нужно, впрочем, внести существенную поправку: при первом разделе Россия не взяла ни одного клочка чисто польских областей. Но все-таки Польша была поделена, порабощена, большая ее часть попала Пруссии. Руками мелкой немецкой принцессы, уголовным путем вознесенной на престол Российской империи, было положено начало прусскому могуществу. Впрочем, не следует переоценивать роль Екатерины: она была куклой в руках тех людей, которые несли ее и на кровать, и на престол. Она была только вывеской. Она была названа Великой, ибо именно под ее вывеской окончательно консолидировался и окончательно закрепил свою диктатуру слой победителей в жизненной борьбе -- русское рабовладельческое дворянство.

Пример Екатерины и Польши я беру как самый черный пример русской военной истории, все-таки до сих пор самой успешной в мире. К этому примеру нужно бы сделать ряд оговорок. Польша до XVIII века играла по адресу России совершенно ту же роль, какую Германия Бисмарка и Гитлера играла по отношению к Польше: культурная миссия на Востоке и прочие вещи в таком же стиле. Польша завоевала Киев первый раз еще в 1211 году и последний раз -- в 1921-м году. Даже и после попытки Пилсудского под властью Польши оказались русские западные области (в том числе и та Гродненская губерния, в которой мои крестьянские предки жили сотни лет), в которых был установлен решительно такой же режим, какой немцы установили в Польше в 1939-1945 годах. После взятия Кракова Гитлер недаром ездил поклоняться праху Пилсудского.

Для невежливого обращения с Польшей у России были достаточные исторические основания. Но и раздел Польши и дальнейшие попытки ее русификации относятся к числу самых черных дел самой воинственной в мире истории -- русской истории. Приблизительно в эту же эпоху закончились и остальные западные завоевания России: была отвоевана у Швеции Финляндия.

Повторяю, это были самые блестящие военные десятилетия России: ликвидация Польши, уничтожение татарских орд, разгром Турции и, как венец этой эпохи -- уничтожение наполеоновской армии, взятие Берлина и Парижа -- и диктатура Александра Первого и Николая Первого надо всей Европой, что по тем временам было более или менее эквивалентно мировой власти. Русская история назвала Екатерину Великой, Александра Первого -- Благословенным и Николая Первого -- Палкиным. В реальности Екатерина была сплошной реакцией, Александр был пустым местом, Николай Первый был, может быть, единственным светлым пятном: он вернул конституцию Польше, подтвердил конституцию Финляндии и, что самое важное, начал работу по освобождению всех крепостных крестьян всей империи. Но, как это случается с историками, Екатерина, при которой крестьянство было окончательно лишено всяких человеческих прав, оказалась Великой, а Николай Первый, который все свое царствование вложил в освобождение крестьянства, оказался Палкиным. По совершенно такой же схеме пролетарии всех стран оказываются прогрессом, а капиталисты тех же стран оказываются реакцией.

Итак, самая крупная, самая воинственная и самая реакционная государственность Европы завоевала Польшу, Балтику, Финляндию, Крым и еще целую массу других мест. Во всех этих окраинах были оставлены их старые конституции, вольности и прочее. Польская конституция была ликвидирована только после польского восстания 1832 года, финская действовала до 1917-го. Взаимоотношения между завоеванной Финляндией и ее завоевательницей не имели, вероятно, прецедентов во всей мировой истории: все граждане Финляндии пользовались всеми правами на всей территории империи, и все остальные граждане всей остальной империи не пользовались всеми правами на территории Финляндии. Во всяком случае, ни в одном из всех завоеваний ни у одного из

побежденных помещиков или мужиков не было отнято ни одного клочка земли, никто не переселялся и не перегонялся с места на место. Финн генерал Маннергейм был свиты Его Величества генерал-адъютантом, поляк генерал Клембовский был генерал-квартирмейстером всех русских армий в первую мировую войну.

Русская политика наделала много ошибок, промахов и даже преступлений: раздел и попытки русификации Польши были преступлением. Однако польские помещики около Харькова и польские помещики около Варшавы продолжали владеть своими поместьями (иногда гигантскими), а до 1861 года некая часть народа-завоевателя и народа-победителя, например, семья Солоневичей, оставалась в крепостных рабах помещиков, принадлежащих к побежденному и завоеванному народу. Особенно умно это не было. Но это характеризует завоевательную политику реакции.

Сейчас начали свою антимилиитаристическую политику пролетарии всех стран. Мы сейчас можем сказать, что товарищ Сталин ведет политику откровенной экспансии. Но можем утверждать и нечто другое: все остальные социалистические правительства Европы вели бы точно такую же политику, если бы у них для этого было бы достаточно сил. Разницу между Сталиным и остальными социалистическими политиками Европы нужно искать не в потенциале желаний, а в наличии сил. Совершенно очевидно, что если бы те пролетарии всех стран, которые нынче властвуют во Франции, были бы достаточно сильны, то они делали бы в Руре решительно то же самое, что делает товарищ Сталин в Берлине, и делали бы это безо всякой оглядки на интересы, желания, голосования или голод тех пролетариев всех стран, которым не повезло во второй мировой войне.

Дети немецких пролетариев всех стран голодают неистово -- министры норвежских пролетариев налагают свое вето на немецкое рыболовство и китобойный промысел. Датские пролетарии пытаются оттяпать Шлезвиг, бельгийские и голландские -- "исправить границы", чешские пролетарии выселили немецких и венгерских, венгерские -- словацких и чешских, сербские и румынские -- швабских и австрийских, австрийские -- немецких и так далее.

Можно сказать, что Австро-Венгерская монархия была реакционной. Однако дюжина народностей все-таки как-то уживались друг с другом. Сейчас люди, жившие веками на территориях этой бывшей реакции, согнаны со своих веками насиженных мест, ограблены до нитки, выброшены в голодную неизвестность. И это все делается пролетариями в отношении пролетариев.

Немецкие национал-социалисты начали свою внешнеполитическую деятельность с полного уничтожения польских народных социалистов. Теперь польские социалисты занялись плохо организованным истреблением немецких трудящихся. Об обстановке выселения немцев из-за Одера-Нейсе "Таймс" писал: "Это было лучше Вельзена и Дахау, но это не намного лучше".

Около двухсот лет тому назад, в царствование той же Екатерины, князь Потемкин завоевал нынешний Юг России, в том числе Крым. В сознании среднего читающего европейского человека имя князя Потемкина неразрывно связано с выражением "потемкинские деревни". Так пишет история. История не пишет о том, что тогдашние "потемкинские деревни" сейчас называются Одессой, Севастополем, Днепропетровском и прочими такими бутафорскими названиями. Война на Юге России была зверской войной. Татары оказывали отчаянное сопротивление, и население северных районов Крыма было истреблено почти поголовно. Приблизительно в таком же стиле разыгрывались и кавказские войны. Так что Гаагские принципы в этих войнах не применялись. Крым же в предшествующую эпоху играл ту же роль, какую играли арабские торговцы черным деревом в Африке времен Стенли. Для демократических принципов ведения войны места там не было. Однако после капитуляции Крыма его населению был предоставлен выбор: остаться в России или эмигрировать в Турцию (Крым до того принадлежал Турции). Часть осталась, часть предпочла уехать. Уезжавшим был предоставлен тоннаж для них и для всего их имущества, были выданы деньги на проезд и деньги на обустройство на новых местах. Это было двести лет тому назад, в одну из самых реакционных эпох России, по отношению к Разбойным племенам, профессионально промышлявшим торговлей живым человеческим мясом.

Оставшиеся крымские татары совершенно мирно прожили двести лет. Сейчас они все выселены на Север Сибири. Около двух с половиной миллионов поляков в течение примерно тех же двухсот лет также мирно жили на Юге России -- все

они выселены к линии Одер-Нейсе, где они решительно не знают, что именно с ними станет завтра.

Крымские татары специализировались на табаководстве -- лучшем в России. Теперь на Севере Сибири они, вероятно, просто вымрут. Немецкие рабочие в Чехии веками специализировались на стекольной промышленности, кажется, лучшей в мире; теперь им деваться некуда и делать нечего. Финские пролетарии специализировались по водному транспорту в Петербурге и при царской реакции жили там сотню лет, работали, и никто их не трогал. С началом власти "пролетариев всех стран" они выселены все. Немецкие колонисты в России жили там почти двести лет и создали за Волгой очень высококвалифицированное сельское хозяйство -- они выселены на тот же Север Сибири и с теми же шансами на жизнь. Правительство русских пролетариев уморило голодом два миллиона пленных немецких пролетариев, и правительство французских пролетариев пыталось также уморить тех же немецких пленных, пока в эту историю не вмешалось правительство антипролетарских США. За "пролетариев всех стран" сейчас вступает только антипролетарское, капиталистическое и плутократическое и прочее правительство США -- только оно одно. Это оно кормит детей европейского пролетариата, которых грабят пролетарии всех стран. Это оно и только оно одно спасает отряды европейского пролетариата от места их последнего соединения -- от виселицы, подвалов и братских могил голода. Чем и когда помогли одни пролетарии другим пролетариям? кто из них положил кусок хлеба в протянутую руку своих голодающих товарищей по классу? Кто из них дал бы стакан молока голодающим детям капиталистических стран, если бы дети голодали в капиталистических и имели бы молоко в социалистических странах?

Позвольте нарисовать социалистическую утопию, не предусмотренную пока что никакой философией мира. Американцы из Европы ушли. Для простоты картины предложим, что большевики на их место не пришли. Что будет завтра в социалистической Европе "пролетариев всех стран"? Забудут ли немецкие трудящиеся свою землю по ту сторону Одера и Нейсе? Договорится ли товарищ Шумахер с товарищем Торезом? Согласятся ли немецкие рыбаки отказываться от рыбьего жира в пользу своих норвежских товарищей? Поделят ли венгры, словаки и чехи наследие ограбленных немецких и австрийских рабочих? Примирится ли мистер Тито с австрийской Каринтией? И что будут есть все они на другой день после прекращения капиталистической помощи невыразимо прекрасной Европе сегодняшнего дня?

...Если сегодня днем акулы американского капитализма из Европы уйдут, то сегодня вечером в Европе все начнут резать всех. Немцы вышибут поляков из Померании. Поляки вышибут русских из Кенигсберга. Французы постараются захватить Рур и датчане -- Шлезвиг. Тито ринется на Австрию. Словакия восстанет против Чехии. Немецкий рабочий ринется грабить немецкого мужика. Немецкий мужик постарается вырезать немецких беженцев, не говоря уже об иностранных Ди-Пи. Даже старые, давно забытые кровавые распри между религиями примут социалистически модернизированный характер: православные сербы начнут резать католических хорватов, а в Западной Украине ликвидация унии, начатая Екатериной Великой, будет продолжаться методами Великого Сталина: мечом и виселицами.

Вы можете отвергнуть этот вариант социалистической утопии. Но совершенно невозможно отрицать социалистическую действительность сегодняшнего дня: все, что можно было использовать для ненависти, использовано для ненависти. Раньше нам все говорили только о ненависти к эксплуататорам. Сейчас культивируется ненависть к эксплуатируемым. "Пролетарии всех стран" добились одного: во всякую щель, где только затаились остатки вековых споров, вбиты новые клинья свежей ненависти -- классовой, групповой, национальной и даже религиозной. Кто мог себе представить товарища Сталина, выступающего в качестве "защитника православия" методами инквизиции семнадцатого века? Кто мог представить себе, что вожди русского и французского пролетариата станут сознательно убивать голодом миллионы немецких пролетариев, только что "освобожденных от власти кровавого фашизма". Кто мог представить себе русского социалистического "богоносца", насилующего берлинских пролетарок, или немецкого социалистического профессора, впрыскивающего бензин в вены пленных рабочих и крестьян? Фактическая история всех этих моральных достижений еще

не написана вся. Сейчас мы знаем только немецкие зверства. То, что русские эмигранты мне говорили о чешских, даже и мне, человеку, выдавшему всякие виды, кажется невероятным. Товарищ Шумахер есть социалист. Но ведь и товарищ Пик есть социалист. Товарищ Шумахер раздувает ненависть против России, Польши, славянства, против немецких помещиков и фабрикантов, против "христианской демократии" и капиталистического либерализма. Товарищ Пик раздувает ненависть против США и Англии -- и против тех же демократов, либералов и капиталистов. Товарищ Торез раздувает ненависть против немецких пролетариев и американских капиталистов, и товарищ Сталин грабит немецких трудящихся точно так же, как ограбил и русских. Советский идеолог Илья Эренбург вопил: "Смерть немцам", и под этим лозунгом Красная Армия шла на Берлин -- насилывала, грабила и убивала. До того почти под таким же лозунгом шла на Восток германская социалистическая армия и делала то же самое. При Романовых, Гогенцоллернах и прочих было, может быть, плохо. Но никто в мире, имеющий ум и совесть, не имеет никакого права оспаривать того факта, что при пролетариях всех стран все стало неизмеримо хуже.

Русский император Павел Первый, которого Бернад Шоу называет таким же чудовищем, каким был Нерон, взял в плен вождя польского восстания Тадеуша Костюшко. Костюшко был привезен в Петербург, принят Павлом, получил деньги и свободу и уехал в США.

Шамиль, организовавший на Кавказе одно из самых кровавых восстаний русской окраинной истории, был взят в плен, был принят царем Александром Вторым, получил имение на Волге, правда, с запретом возвращаться на Кавказ, и потом уехал в Мекку. Павел Первый и Александр Второй были "реакционерами", и оба были убиты: первый -- за то, что начал освобождение русских рабов, второй -- за то, что он его не кончил. Что сделали реакционеры, убившие "реакцию"? Кого помиловали они? Кого они освободили и из числа своих противников, и из числа своих друзей, и из числа тех трудящихся, во имя которых они подняли свои кровавые знамена?

Мы можем сказать, что Павел Первый в Польше и Александр Второй на Кавказе вели империалистическую политику, и это будет правильно. Но разве не тот же империализм проводят или пытаются проводить польские социалисты на линии Одер-Нейссе, французские -- в Сааре и Индокитае, датские -- где-то в Шлезвиге, русские -- по всем своим границам и даже итальянские -- где-то в Эритрее?

Империализм, действительно, был, но он остался и при социалистах. Однако до "пролетариев всего мира" в Европе, кроме империализма, капитализма и прочих разновидностей реакции, было все-таки чувство общественного приличия и были традиции человечности или по крайней мере джентльменства. Разгром Костюшко или Шамиля был обусловлен такими-то и такими-то соображениями. Но они не были преступниками, и они не рассматривались как преступники. Социалистический мир сейчас поделен на три неравные части: первая -- вождь, вторая -- его уголовная полиция, третья -- все остальное преступное человечество.

Я перечислил факты. Любому отдельному из них вы можете найти любое отдельное объяснение. Любую ненависть вы можете объяснить любым "наследием прошлого". Но ведь вся Европа стала социалистической, во всей Европе творятся приблизительно одни и те же вещи, и все источники европейской жизни заражены одной и той же ненавистью. До победы социализма над кровавыми старыми режимами, над реакционными капиталистами, над несознательными трудящимися, над еретическими философами, над остальными оппозиционерами социалистами в Европе все-таки существовали законы, преследовавшие за "возбуждение национальной, сословной, классовой или религиозной ненависти". Эти законы были несовершенны, выполнялись они не всегда, и все прошлое в Европы оставило достаточно поводов для всяких трений. Чего стоит одна Эльзас-Лотарингия с ее перемежающимися попытками по германизации. На европейских территориях есть, например, Эстония с ее миллионом населения. Тысячу лет жила под чужим государственным владычеством -- немецким, датским, шведским, а потом русским -- страна, которая не имеет никаких шансов на собственную культуру и самостоятельность, накопила тысячекратное раздражение и пыталась излить его и на немцев, и на шведов, и на русских. На этих территориях достаточно горячего материала и для резни, и для ненависти. Почти по всей Европе существовало в свое время крепостное право, и к 1945

году почти во всей Европе еще существовали его пережитки. Все это не было забыто, как не были забыты и кровавые религиозные войны между католицизмом, протестантизмом и православием, и менее кровавые столкновения в пределах этих религий между их отдельными разновидностями. Все это было исторической давностью. Но со всем этим "старые режимы" пытались бороться и, в общем, при отдельных ошибках боролись все-таки не без успеха. Сейчас пришли "пролетарии всех стран", и во всех странах раздувают все мыслимые и немыслимые уголья ненависти.

Я утверждаю, что социализм родился из ненависти. Думаю, что это очень трудно доказуемо. Но, возможно, несколько легче доказать, так сказать, чисто техническую сторону этого вопроса. В самом деле.

Авторы социальной революции во Франции 1789 года звали "массу" ненавидеть аристократов, тиранов, королей, панов, Коблени, Питта, Англию, Россию, жиродистов, гербертистов, дантонистов, вандейцев, лионцев, тулонцев, -- короче, всех, кроме самих себя.

Авторы социальной революции в России звали массу ненавидеть эксплуататоров, плутократов, монархов, попов, белогвардейцев, Черчилля, Англию, Германию, США, Керенского, Троцкого, Бухарина, -- то есть всех, кроме самих себя.

Авторы социальной революции в Германии звали массу ненавидеть союзников, демократию, плутократию, Англию, Россию, США, ремовцев, штрайхеровцев, евреев, -- словом всех, кроме самих себя.

Все они, кроме того, звали к травле вредителей, саботажников, изменников, уклонистов и всех тех, кого наивная терминология французской революции определяла суммарно как "подозрительных". Ученые мужи, оккупирующие университетские кафедры, склонны оперировать объяснениями, которые суммарно можно было бы сформулировать как "гнев народа". Хотя довольно очевидно, что ни в сентябрьских убийствах а Париже, ни в деятельности гестапо, ни в подвигах ВЧК-НКВД никакой народ никакого участия не принимал. Поставим вопрос несколько иначе.

К власти пришла социалистическая партия. Она "вводит социализм". Но так как даже и Ленину ясно, что сразу и на все сто процентов этого сделать невозможно, то социалистическая отравка дается в ее, скажем, десятипроцентном растворе. Ленин, вероятно, был совершенно убежден, что уже и десятипроцентный раствор окажет благодетельное влияние на ход хозяйственной жизни страны, что наступит, пусть и не полное, но хотя бы десятипроцентное облегчение капиталистических страданий человечества. Итак, введено десять процентов социализма. И жизнь становится на двадцать процентов хуже.

При нормальных человеческих мозгах и при нормальной человеческой совести здесь нужно было бы остановиться и начать проверять теорию путем анализа практического эксперимента. По теории, большое капитализмом человечество должно бы почувствовать хоть и небольшое, но все-таки облегчение. Вот социализировали, допустим, железные дороги, и они вместо того, чтобы работать лучше, стали работать хуже. Давайте посмотрим, в чем тут дело. Но неудача с десятью процентами имеет только одно последствие: авторы переворота слушают раствор до сорока. И так далее, до стопроцентного "тотального" социализма. Гитлер этого не успел проделать, Сталин уже успел. Нет никакого сомнения в том, что и Ленин, и Гитлер, и Сталин были вполне информированы о хозяйственных и прочих последствиях социализма во всех растворах.

Мы можем сказать: все это догматики, фанатики, теоретики, стоящие на гегелианской точке зрения "тем хуже для фактов". Но можно поставить вопрос и совсем с другой стороны: а что же им остается делать? Сказать *urbi et orbi*: извините, ситуайены, товарищи, геноссе и камерады, наш фокус не удался, наша теория оказалась не тово... И вернуть железные дороги капиталистам, власть -- эксплуататорам, жизнь -- миллионам людей, уже убитых на путях к победе социализма?

Это, разумеется, совершенно утопично. Это означало бы самоубийство науки и теории науки, партии и вождей, похороны "невыразимо прекрасного будущего", а также и свои собственные. В случае выбора между убийством и самоубийством люди предпочитают все-таки первое. А третьего выбора у начинателей революции нет.

Поэтому-то и идут неизменные поиски классового и внеклассового козла

отпущения. В русском случае поиски эти развивались по такой линии: нужно свергнуть проклятый старый режим. Свергли. Стало хуже. Нужно свергнуть буржуазное Временное правительство. Свергли. Стало хуже. Нужно разбить Колчака, Деникина и прочих. Разбили. Нужно ликвидировать "капиталистические остатки" в стране. Ликвидировали. Нужно ликвидировать крестьянство -- почву, из которой рождаются капиталистические отношения. Ликвидировали. Нужно искоренить троцкистских фашистов -- искоренили. Нужно расстрелять бухаринских уклонистов -- расстреляли. Нужно разбить германских фашистов -- разбили. Нужно разбить американских милитаристов -- пока еще не разбили. И вот в результате всех этих всемирно исторических побед победоносный трудящийся России ночью вором пробирается на поля, которые раньше кормили пол-Европы, там крадет колосья и за кражу их отправляется на каторжные работы.

И этому трудящемуся, даже и сидящему на каторжных работах, власть говорит: виноваты последствия проклятого старого режима, потери гражданской войны, саботаж капиталистической агентуры -- Троцкий, Бухарин и прочие, виноваты немецкие фашисты, американские империалисты, интеллигентские саботажники, несознательные рабочие, виноваты ВСЕ, кроме НАС. Нужно ненавидеть ВСЕХ, кроме НАС.

Все это, конечно, можно объяснить и гораздо проще. Один из ста шансов на жизнь -- это очень мало. Но все-таки, это больше, чем все сто шансов на виселицу. Нужно переть в этот один шанс. А этот один шанс -- один и единственный -- обозначает завоевание всего мира. Однако, в конечном счете, иллюзорен и этот один шанс.

РОДОСЛОВНАЯ РУССКОГО БЮРОКРАТА

Родословная сегодняшнего коммунистического русского бюрократа автоматически будет родословной книгой русской революционной интеллигенции. Все книги, написанные русской интеллигенцией о русской революции, являются, в сущности, только автобиографиями. Может быть, именно поэтому ни в одной из этих книг вы не найдете констатации того довольно очевидного факта, что русская революционная интеллигенция была в то же время русской дворянской бюрократией. Она, эта интеллигенция, не имела даже двух ликов, как римский бог Янус: и революционность, и бюрократизм проживали в одних и тех же физиономиях. Этот печальный факт, в сущности, совершенно очевиден. То, что русская интеллигенция была революционной, то есть социалистической сплошь, признается, кажется, всей мировой литературой, посвященной вопросам истории русской общественной мысли. Вся мировая литература, посвященная истории русской общественной мысли, старательно обходит молчанием тот факт, что, кроме чиновничества, в России не было почти никакого другого образованного слоя. Русский деловой человек, разгромленный петровскими реформами почти так же, как его наследники были разгромлены ленинской, образованным человеком еще не был, "интеллигенцией" не считался никак и до самых последних предреволюционных лет пребывал где-то совсем на задворках общественной жизни. Русская литература рисовала его эксплуататором, кровопийцей, мироедом, паразитом и дикарем. Свободных профессий почти не было. До последней половины прошлого века, как об этом говорил П. Милюков, русский образованный класс почти полностью совпадал с дворянством. Потом в этот образованный класс влились так называемые разночинцы -- люди "разного чина", образованные и полубразованные, выходцы из духовенства, из мелкого купечества и -- в самое последнее время -- из крестьянства. Они попадали в уже сложившуюся дворянско-бюрократическую атмосферу и достижения именно этой культуры принимали как нечто само собой разумеющееся.

Не менее девяти десятых всех людей, получавших в царской России высшее образование, шло на государственную службу. До освобождения крестьян дворянство на государственную службу шло по традиции, после освобождения -- по материальной нужде. Разночинец шел потому, что никаких других путей у него не было. Торгово-промышленная жизнь страны обслуживалась героями

Островского, пресса была чрезвычайно слаба количественно, научно-исследовательских лабораторий еще не было -- словом, минимум девяносто процентов русской интеллигенции были государственными служащими, или, иначе, чиновниками, или, еще иначе бюрократами, они в той или иной степени не могли быть социалистами.

...Мой отец, был крестьянином, потом в годы моего позднего детства -- мелким, я бы сказал, микроскопическим чиновником: делопроизводителем гродненского статистического комитета. Я вырос в среде этой мелкой провинциальной бюрократии. Мои первые наблюдения над общественной жизнью относятся именно к этой среде.

Это был мир микроскопической провинциальной бюрократии. Оценивая жизнь и деятельность покойницы с точки зрения моего сегодняшнего опыта, я должен сказать, что это была чрезвычайно добропорядочная демократия. Она брала взятки -- так было принято. Но взятка не была вымогательством, она была чем-то средним между гонораром и подаванием. Она разумелась сама собой. Чиновник, который отказывался брать взятки, подвергался изгнанию из своей собственной среды: он нарушал некую неписаную конституцию, он колебал самые устои материального существования бюрократии. Но такому же изгнанию подвергался и чиновник, который свое право на взятку пытался интерпретировать как право на вымогательство. Взятка, я бы сказал, была добродушной. Так же добродушен был и ее приемщик. Чиновник старого режима начинал свой рабочий день в 10 утра и кончал в 3 дня. В течение этих пяти часов он имел возможность зайти в ресторан, выпить рюмку водки, сыграть партию в биллиард -- и вообще работой обременен никак не был. И не старался себя обременять. Он не был человеком навязчивым и, будучи в той или иной степени революционно настроенным, никаких правительственных мероприятий особенно всерьез не принимал. Он, кроме того, считал себя нищим.

Государственная служба везде оплачивается сравнительно низко. Это, вероятно, объясняется очень просто, законом спроса и предложения. Маленький провинциальный чиновник получал жалованье, достаточное для того, чтобы семья из пяти человек была вполне сыта, имела бы квартиру комнаты в три и по меньшей мере одну прислугу. Но материальные требования этого чиновника определялись не его "общественным бытием", а остатками дворянской традиции. Дворянская традиция в России, как и в других странах Европы, требовала "представительства". Физический труд был унижен. Квартира из трех комнат была неприличной. Наличие только одной прислуги было неудобным. В силу этого чиновник считал себя нищим. Он, кроме того, считал себя образованным человеком. Рядом с ним жил человек, которого никто в России не считал образованным: купец. Наш крупнейший драматург Островский населил русскую сцену рядом гениальных карикатур на то "Темное царство", которое почти в одиночку кое-как строило русскую хозяйственную жизнь. Наш величайший сатирик Салтыков населил русское читающее сознание образами Колупаевых и Разуваевых -- кровавых хищников, пьющих народную кровь. Наш величайший писатель Лев Толстой пишет о русском деловом человеке с нескрываемой ненавистью. Позднейшая политическая и художественно-политическая литература связала Толстого с Марксом и выработала на потребу русскому сознанию тот тип, который сейчас плавает по континенту США в качестве "акулы мирового империализма". То, что сейчас советская пропаганда говорит об "империализме доллара", взято не только из Маркса. Это взято также и от Толстого.

Мелкий провинциальный чиновник Маркса не читал. Но Толстого и прочих он, конечно, читал. Он считал, что он, культурный и идейный человек (взятки никогда в мире никакой идее не мешали, как никакая идея не мешала взяткам) "служит государству". А его сосед по улице, лавочник Иванов, служит только собственному карману, других общественных функций у этого лавочника нет. Он груб. Он ходит в косоворотке, и его жена сама стирает белье. Скучное чиновничье жалованье путем таинственной "стихии свободного рынка" переходит в карманы лавочника. Если лавочник продает чиновнику на рубль мяса, то на тридцать копеек он выпивает чиновничьей крови. Он, лавочник, ничего не производит, даже входящих и исходящих. Он есть представитель внепланового, государственно контролируемого хозяйственного хищничества. Он есть, кроме того, и классовый враг.

Классовым врагом лавочник был уже для Толстого: это именно он скупал "дворянские гнезда", вырубал "вишневые сады". Потом он стал скупать и

птенцов этих гнезд, и владельцев этих садов: дворянство разорялось, а буржуазия строила. Мелкий провинциальный чиновник литературно унаследовал эту дворянскую классовую вражду: во всякой школе преподавали русскую литературу, и во всей русской литературе частный предприниматель был образован как хищник и паразит. Но частный предприниматель был классовым врагом и для сегодняшнего чиновничьего благополучия: он подрывал существо чиновничьего быта, право на регулирование. Он "заедал" каждый день чиновничьей жизни и каждый фунт чиновничьего обеда; он богател и строил дома -- за счет копеек, вырученных за продажу фунта мяса, и рублей, полученных как квартирная плата. Традиция русской дворянской литературы, собственный бюрократический быт и философия пролетарского марксизма -- все это привело к тому, что старорежимная бюрократия оказалась носителем идеи революционного социализма. Идеи эти не были глубоки и выветривались при первом же соприкосновении с революционной действительностью, но и они в какой-то степени определили собою ход русской революции.

На вершинах русской интеллигентской мысли стояли писатели революционные, но стояли и писатели контрреволюционные. Сейчас, оценивая прошлое, можно сказать с абсолютной степенью уверенности: контрреволюционные были умнее. Сбылись именно их предсказания, пророчества и предупреждения. Но сбыт имели только революционные. Или, что тоже случалось (для обеспечения сбыта), -- даже контрреволюционные писатели кое-как подделывались под революционную идеологию. Свои контрреволюционные мысли и Лев Толстой высказывал только в своих произведениях, для печати НЕ предназначенных. Даже и Достоевский не мог писать свободно, а когда пытался, его никто не слушал. Даже и Герцен протестовал против революционной цензуры, существовавшей в царской России. Здесь действовал закон спроса и предложения. Спрос обуславливала русская интеллигентная бюрократия, или, что то же, русская бюрократическая интеллигенция, и ей, профессиональной бюрократии, социализм был профессионально понятен. Социализм -- это только расширение профессиональных функций бюрократии на всю остальную жизнь страны. Это подчинение лавочника Иванова контрольному воздействию философически образованной, "культурной" массе профессионального чиновничества. Это было и просто, и понятно, и соблазнительно. "Частная инициатива" была чужой, непонятной и отвратительной, она взятками или обходами, нарушением инструкций и даже законов пыталась обойти всякое государственное регулирование. Но чиновника кормило именно государственное регулирование. Точно так же, как дворянство прокармливалось крепостным правом. Чиновник изобретал инструкцию или препону -- и частник пытался ее обойти: в чиновничьем воображении он восставал как хронический правонарушитель, как антисоциальный элемент, как антигосударственная стихия.

Я вырос в очень консервативной и религиозно настроенной семье. Но до конца двадцатых годов, до перехода от "новой экономической политики" к политике коллективизации деревни, первых пятилетних планов и прочего в этом роде, я все-таки разделял русскую традиционно интеллигентскую точку зрения на русского делового человека во всех его разновидностях. Чего же вы хотите? Я читал Толстого и Салтыкова, как всякий читающий русский человек. Я впитывал в себя образы хищников и кровопийц. Я съедал в ресторане свой обед, платил за него полтинник и из этого полтинника уплачивал свой кровный гривенник в качестве налога анархической стихии частной собственности. Я платил мои двадцать рублей за мою квартиру, и из этих двадцати пятнадцать (мне казалось, минимум пятнадцать отдавал за здорово живешь своему домовладельцу. Со всех четырех измерений меня охватывало железное кольцо "эксплуатации человека человеком". За каждое съеденное мной яйцо я уплачивал и свою дань этой эксплуатации. Только в самое последнее время, в Германии, в 1946 году, я вдруг вспомнил: будучи репортером, я в 1914 году за каждую строчку получал гонорар, равный цене двадцати пяти яиц. Кто сейчас заплатит мне такой гонорар? и кто снабдит меня яйцами, если бы я этот гонорар и получил? И не был ли частный предприниматель волей или неволей просто нянькой и мамкой, кормилицей и сестрой милосердия? Не он ли, частный предприниматель, как-то заботился о моем построчном гонораре и как-то посредничал между мной и людьми, которые готовы были заплатить 0,000001 копейки за удовольствие прочесть в газете мой отчет о заседании петербургской думы? Не он ли заботился о доставке из Воронежской губернии в

Санкт-Петербург тех двадцати пяти яиц, в которые таинственным образом превращалась моя репортерская строчка? Он, частный предприниматель, был очень суров ко мне как к работополучателю: он требовал, чтобы я писал толково и грамотно. И если бы я толково и грамотно писать не умел, он бы выгнал меня на улицу. Но когда я приходил к нему покупать ботинки, то в моем полном распоряжении был целый склад, и я мог капризничать, как мне было угодно. Мне тогда никак не приходило в голову, что если я как покупатель ботинок имею право капризничать, то, может быть, такое же право имеет и неизвестный мне потребитель моих строчек? И что если частный предприниматель не будет особенно придирчив в отношении меня, я никак не смогу быть придирчивым по адресу ботинок: придется носить, что уж мне дадут? Вообще много совершенно простых и, казалось бы, совершенно очевидных соображений никак не приходило в голову.

Наступил военный коммунизм. Есть было вовсе нечего. О каких бы то ни было капризах по поводу свежих яиц или модности ботинок даже разговаривать было нечего. Я по тем временам занимался поисками еды, а не объяснений ее отсутствия. Тем более, что и объяснение, казалось, было просто: война мировая, потом война гражданская, потом террор. Я был ярым контрреволюционером, советская власть сжала и даже пыталась расстрелять меня не совсем зря. Я защищал монархию, но ДО частной инициативы мне никакого дела не было. Очень мало дела было даже до социализма: я был против социализма только потому, что социализм был против монархии. Но если бы в 1912 году Император Всероссийский издал бы манифест об освобождении русского народа от буржуазной крепостной зависимости, я бы повиновался без никаких. Иностраный читатель скажет, что все это было очень глупо. С иностранным читателем я спорить не буду: особенно умно это, действительно, не было.

ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ БЮРОКРАТ

Итак, жил да был бюрократ, который считал себя культурным и прогрессивно мыслящим. Который взимал скромные взятки и за рюмкой водки разглагольствовал о благе народа. Который предъявлял спрос на революционно-социалистическую литературу и всячески презирал всякую "анархию производства и распределения".

Он был нищ, этот бюрократ. И права его были урезаны очень сильно. Напомню о том, что еще дед нашего довоенного бюрократа, гоголевский городничий, товарищ Сквозник-Дмухоновский из "Ревизора", как огня, боялся "бумагомарания и шелкоперства", которые могли в любой газете -- даже и в газете тридцатых годов прошлого века -- опорочить его доброе имя. Бюрократ царского времени был только обслуживающим элементом страны. Почему бы ему не желать стать и господствующим?

Из этого патриархального, идиллического, можно сказать, доморощенного бюрократа вырос и нынешний советский. Причем вырос не только философски-генетически, а самым банальным путем, путем рождения от отца и матери: отцы только проектировали социалистическую революцию, дети ее реализовали. Русскую революцию сделал вовсе не пролетариат. Ее сделали коллежские регистраторы и те сыновья коллежских регистраторов, которые потом получили новый чин: народных комиссаров.

Итак, акулы капитализма исчезли бесследно. На их место -- в миллионах хозяйственных ячеек страны стали социалистический комиссар, надсмотрщик, плановик, руководитель. Всей Россией стал управлять самый главный комиссар -- Владимир Ленин. Каждым домом стал управлять самый мелкий комиссар -- "домком". О Ленине написаны и еще будут написаны сотни тысяч томов. О его маленьком собрате -- домовом комиссаре -- никто не напишет ничего. Я заранее хочу исправить эту историческую несправедливость. То, что я здесь предлагаю читателю, есть, возможно, более точная фотография действительности. Она может показаться маловероятной. При некотором размышлении можно, однако, прийти к выводу, что иначе, собственно говоря, и быть не могло.

Осенью 1926 года я переехал из Одессы в Москву. В Одессе я был раньше

преподавателем гимнастики, потом стал инструктором спорта в местном профсоюзе. В Москву я попал уже на более высокий пост, пост спортивного бюрократа в Центральном союзе служащих. Мой брат в той же Москве занимал еще больший пост инспектора спорта в военном флоте. И в качестве человека, имеющего почти адмиральский чин, получил крохотную комнату на Тверской улице в доме 75. Потом брата сослали на Соловки, и комната осталась в моем полном распоряжении. Я из нее сбежал.

И в квартире было семь комнат, и в семи комнатах жили восемь семейств. Одно из них жило в ванной. По утрам в коридоре шипели восемь примусов. По ночам из пяти комнат доносился крик неизвестного мне количества детей. По всем комнатам квартиры безданно и беспощинно бродили неисчислимые полчища клопов. Это был "жилищный кризис" который, начался с началом революции и стихийно растет до сих пор.

Он был в Одессе. Но в Одессе он был, казалось, само собою понятным: Одессу бомбардировали, осаждали, атаквали, защищали и грабили и белые, и красные, и иррегулярные туземные банды. В Москве ничего этого не было. Одесса, политически отставшая лет на пять, оказалась оазисом по сравнению с нашей передовой столицей; в Москве оказалось вовсе невозможно жить. По крайней мере, для меня. Я могу выносить: примусы, детей, споры из-за уборной и пререкания из-за кухни, но к клопам у меня решительно то же отношение, что и к социализму: я не могу. Я сбежал. Но это мне удалось не сразу.

В Москве весь ход событий пытался втянуть меня в "общественную деятельность". Из этого тоже ничего не вышло: я оказался саботажником. Первый вариант общественной деятельности, мне предложенный, было участие в собраниях и в работе жилищного кооператива. На штуки две я -- по молодости лет -- все-таки пошел. Они меня все-таки кое-чему научили.

Итак, дом принадлежит кооперативу людей, в нем ныне проживающих. То есть не собственникам отдельных квартир или даже комнат, а переходящему бюрократическому пролетариату, вроде меня. Мне лично на этот дом было, говоря откровенно, наплевать: у меня была целая масса других забот. И кроме того, даже в самые мрачные минуты моей жизни я все-таки не предполагал разделять свое ложе с клопами до бесконечности. Но на этих собраниях я научно и точно установил следующее.

Домом управляет домком -- теоретически выборный, как теоретически выборными были и советские Съезды Советов, и рейхстаг "третьего рейха". Домком был служащим, чиновником, бюрократам -- как вам будет угодно. Он был обязан чинить крыши, вывозить мусор, вставлять выбитые стекла, закупать топливо и совершать некое количество мне малопонятных хозяйственных операций. На каждый из этих операций домком мог украсть неизвестное мне количество краски, стекла, топлива или денег. Для того, чтобы он не украл или для того, чтобы он не предавался "бесхозяйственности", я, один из жильцов одной из квартир, должен был ходить на собрания, выбирать правление, контрольную комиссию, комиссию по культурно-просветительной работе, комиссию по "озеленению" двора и прочее в этом роде. Я очень скоро сообразил, что ни о чем этом я, во-первых, не имею понятия: а если бы и имел, то не имею никакой возможности заниматься всеми этими собраниями: у меня ведь есть все-таки и мои собственные дела.

Пессимисты называли Москву "городом-деревней". Оптимисты могли бы назвать ее городом-садом. Вне рамок главных улиц с их многоэтажными домами (этажа три-четыре) раскинуты сотни тысяч особняков или небольших домиков. В особенности на окраинах города. Я устремился туда. Методика моих поисков, как я установил позже, не годилась никуда. Нужно было бегать не по усадьбам, а по бюрократам. Но то, что я увидел, оказалось достаточно поучительным: крыши позаваливались, стены порастрескались, отовсюду неслась ужасающая вонь давно не чищенных уборных. От многих домов и домишек только руины. Я понял: тут хозяйствовали домкомы.

Нужно иметь ввиду, что домовый комиссар никогда не рождается в полном одиночестве: рядом с ним появляются на свет и другие. Так что пока наш домком бюрократствует над домом No 75, его собратья и близнецы так же заведуют: кровельным железом, краской, топливом, вывозкой мусора и всякими такими вещами. Над каждым из них возвышается какое-то собрание, комиссия, контроль и Бог знает что еще: крыша начинает ржаветь. Бюрократ пишет бумажку: выдать мне столько-то квадратных метров кровельного железа,

столько-то краски и столько-то рабочих. Бумажки, очертив положенную им Господом Богом орбиту, попадают к другим бюрократам, которые как-то на них отвечают. Один пишет: краски в данное время на складе нет. Третий сообщает: в порядке очередности рабочая сила может быть предоставлена через икс дней. Приблизительно такую же орбиту описывают бумажки о топливе, мусоре, дезинфекции, починке канализации, вселении одних жильцов, выселении других, устройстве качелей для пролетариев дошкольного возраста и т. д. Словом крыша начинает протекать, не считаясь с порядком очередности. И в то же самое время и по таким же точно соображениям начинают протекать всякие иные метафорические крыши -- на фабрике красок. Потом трескается стена. Потом жильцам объявляется, что в плане энной пятилетки предусмотрена постройка новых домов, а из старого нужно выселяться, ибо он грозит обрушиться. Жильцам еще уцелевших домов предлагается "уплотниться" для размещения их злополучных спутников по бюрократической революции.

Как видите, очень просто. И как вы, может быть, согласитесь, -- а как же логически может быть иначе?

Я не думаю, что в эти годы я отличался выдающимися аналитическими способностями. Мое отношение к большому было типичным для подавляющей -- и неорганизованной -- массы населения страны. Я, как и это большинство, считал, что к власти пришла сволочь. В качестве репортера я знал -- и неверно оценивал -- и еще один факт: это была платная сволочь. По моей репортерской профессии я знал о тех громадных суммах, которые большевики тратили на разложение русского флота в первую мировую войну, знал, что эти суммы были получены от немцев. Теория военного предательства возникла поэтому более или менее автоматически. Социальный вопрос ни для меня, ни для большинства страны тогда никакой роли не играл. И для этого вопроса ни у кого из нас, большинства страны, не было никаких предпосылок.

Я помню: идя к захвату власти, Ленин не требовал ничего особенного. В программе стояло: национализация промышленности, банков и железных дорог; большую часть этой программы проводило и царское правительство. Ленин требовал раздела земли между крестьянами. Царское правительство в течение полустолетия до появления на исторической арене того же Ленина проводило ту же политику. Правда, оно действовало экономическими методами, и крестьяне получили дворянскую землю за плату. Ленин обещал бесплатный раздел. Но мне было решительно безразлично, получит ли дворянство за остатки своих латифундий еще один миллиард на пропой остатков своей души или не получит. И я, более или менее средний молодой человек России, нес свою шкуру на алтарь гражданской войны вовсе не из-за банков, железных, дорог, акций или платного или бесплатного раздела земли. Не из-за этого несли свою шкуру и другие юноши России. Ни колхозов, ни концентрационных лагерей, ни голода, ни вообще всего того, что совершается в России сейчас, мне еще видно не было. Пророчества Герцена, Достоевского, Толстого, Розанова, Лермонтова, Волошина и других, которые я знал и тогда, совершенно не приходили в голову, скользили мимо внимания. Я, в отличие от большинства русской интеллигентной молодежи, действительно питал непреодолимое отвращение ко всякому социализму, но во-первых, против большевизма подняла свои штыки и та интеллигентная молодежь, которая еще вчера была социалистической, и та рабочая молодежь, которая еще и в годы гражданской войны считала себя социалистической. Потом я почти присутствовал при массовых расстрелах социалистической молодежи в большевистских тюрьмах Одессы. Я ненавижу социализм, но это было чересчур. Я не питаю решительно никаких симпатий к нелепому племени украинских сепаратистов, но сидя в одесской тюрьме и ожидая расстрела, я в щелку тюремных ворот смотрел на целую колонну сепаратистской молодежи, которой солдаты ВЧК (позднейшее ОГПУ, потом НКВД, теперь МВД) проволокой связывали за спиной руки перед отправкой этих двух-трех сотен юношей и девушек, почти мальчиков и девочек, на расстрел. Царское правительство боролось и с социалистами, и с сепаратистами, но все-таки не такими методами. Однако и социалисты, и сепаратисты были для меня врагами. Ни дворянство, ни буржуазия друзьями для меня не были. И если сейчас, тридцать лет спустя, я пытаюсь самому себе дать честный ответ на вопрос: так из-за чего же, как и миллионы других русских юношей, подставлял я свой лоб под пулеметы фронта и свой затылок под наган подвала, то единственный ответ, невразумительный, но честный, будет заключаться вот в чем: мы шли во имя

здоровья и мы шли потому, что оно у нас было.

Все остальные объяснения не выдерживают никакой критики, и почти все они средактированы уже впоследствии. К этому, самому основному пункту всей моей книги, и перехожу для того, чтобы не создать в читателе некоего смешения перспективы. В 1920 году я никак не предвидел того домкома, на жилплощадь которого мне пришлось попасть в 1926-м. Никакой мужик в 1920 году не предвидел тех каторжных работ, на которые его направила советская власть в 1932 году. Идя к власти, Ленин в области внутренней политики проектировал только ускоренное проведение всего того же, что уже и без Ленина делало царское правительство. Не против этого шла в бой молодежь белых армий. Генералитет белых армий начертал на своих знаменах "За единую и неделимую Россию!", но сейчас совершенно ясно, что ни единству, ни неделимости России большевики не угрожали никак: наши либеральные течения в вопросах федерализма и прочего шли гораздо дальше, чем шел товарищ Ленин. До момента разгрома немцев союзниками очень острым вопросом был вопрос выхода из войны: как раз те слои страны, которые от войны страдали больше всего -- молодежь, армия, офицерство, готовы были на стенку лезть во имя "войны до победного конца", но разгром Германии снял с повестки дня и этот вопрос. Итак, во имя чего же мы, русские, в подавляющем своем большинстве истинно "рабоче-крестьянская" молодежь, шла на риск, в тюрьму и на смерть?

Тот советский бюрократ, к биографии которого я сейчас перехожу, в нашей борьбе никакой роли не играл. О том, что он появится на свет, никто из нас никакого представления не имел. О том, что именно он будет проделывать, появившись на свет, мы никакого представления и иметь не могли. В 1920 году я был политически довольно грамотным молодым человеком. Я был монархистом, антисоциалистом, верующим и вообще тем, что принято называть "реакцией". На фронтах и в тюрьмах рядом со мной воевали и вместе со мной сидели другие русские юноши, которые называли себя социалистами. И даже революционерами. Я воевал против того, что я называл революцией, они воевали против того, что они называли контрреволюцией. И когда в ожидании боя или расстрела мы, так сказать, открыли друг другу души свои, то оказалось, что мы все воевали и сидели во имя одной и той же традиции физического и морального здоровья нации. Я был монархистом, но я был за раздел помещичьей земли и я не был против "национализации кредита". Они были социалистами, но они "ничего не имели против монархии". Я стою за капитализм, но к рядовому русскому рабочему я питаю искреннее уважение. Они стояли за пролетариат, но в их присутствии нельзя было оскорбительно выражаться о русской монархии, -- профессиональная революционная пропаганда до 1917 года получала официальные указания от своих руководящих органов: можно ругать помещиков, дворян, банкиров и генералов, но нельзя ругать Царя. Они считали себя атеистами, я был верующим. Обе стороны были склонны очень скептически относиться к "попам", но для обеих сторон были вещи недопустимые. Говоря короче, у всех нас действовал почти безошибочный инстинкт физической и моральной чистоплотности, то есть физического и морального здоровья страны и нации.

Сейчас еще больше, чем в 1920 году, можно сказать, что сталинизм есть логическое продолжение царизма, и в 1920 году для этого было еще больше оснований, чем сейчас. Сейчас еще больше, чем в 1920 году, можно составить такую таблицу, в которой был бы перечислен целый пучок параллельных линий во внешних проявлениях царизма и сталинизма. Можно, конечно, составить таблицу пересекающихся линий. Но все это, как и мой нынешний домком, не имело никакого отношения к мотивам наших действий в эпоху гражданской войны. От большевизма нас отвращал инстинкт. Совершенно такой же, какой отвращает нормального юношу от девушки, у которой весь лоб в прыщах. Юноша может и не знать, что поцелуй этой особы с прыщавым лбом отплатится проваленным носом. Мы не могли знать, что флирт с большевизмом отплатится провалом всей страны. В 1920 году мы не понимали ничего. Но мы инстинктивно шли по правильному пути. Фарисеи нашей философии думали и уверяли нас, что они понимают все. Как впоследствии оказалось, они понимали еще меньше нас: у них не осталось даже и инстинкта.

...Но и об этом кое-что сказано у Забытого Автора: "И отнял Бог от седых и мудрых -- и отдал детям и неразумным..."

ЖИЗНЬ БЕЗ ДОМКОМА

Вся сумма комиссаров, начиная от народных и кончая домовыми, никем и никак предусмотрена не была. Хотя же чисто логически ее нетрудно было бы предусмотреть. Бюрократизация всей национальной жизни есть только последствие "социалистической революции" -- только одно из последствий. Как провалившийся нос есть последствие сифилиса -- но только одно из последствий, есть и другие. Провалившийся нос имеет, однако, некоторые преимущества: он совершенно нагляден. Мой домком на Тверской, 75 был для меня методом наглядного обучения: вот почему проваливаются крыши и носы и вот почему не проваливаться они не могут.

В 1920 году ни социализм, ни капитализм с их экономической стороны ни меня, ни моих сверстников не интересовал никак. Мы, правда, все пережили переходя от капиталистической анархии к социалистическому плану. И покинув материнское лоно анархии, мы все летели прямо к чертовой матери, по дороге цепляясь за что попало: за кусок хлеба, за подметку для сапог и паче всего за возможность бегства на юг, восток, север, запад, -- в те места, где, о чем мы тогда не подозревали, еще свирепствовала уже издыхающая анархия производства и распределения. Вторая половина двадцатых годов была хронологической заменой прежних географических переживаний: анархия хозяйственного произвола была кое-как допущена новой экономической политикой. Или, иначе, в каких-то областях страны и отраслях ее хозяйства личная хозяйственная свобода была как-то изъята из-под опеки философски планирующих мудрецов.

В порядке освобождения народного труда от бюрократической крепостной зависимости были денационализированы и некоторые недвижимости, в частности, жилые дома ценностью до десяти тысяч рублей. Не все и не везде. Но главным образом в населенных пунктах с населением, кажется, до 50.000 человек. Во всяком случае, московские окрестности оказались той почти границей, где кое-как возродилась бесплановая жизнь. Мои жилищные поиски в Москве к этому времени закончились полным и безнадежным провалом. Я устремил свои надежды на московские пригороды.

В течение нескольких недель я всячески сбегал со службы и обследовал эти пригороды. Я ходил от двора к двору, вступал в переговоры с домохозяевами, со спутниками в вагонах, с возрождающимися владельцами пивных, с бабами в очередях, вообще со всеми, кто мне попадался на тяжком моем пути. Результаты были неутешительны. На меня смотрели подозрительно и отвечали невразумительно: "Очень уж все теперь переполнено, жить теперь прямо негде, вот поезжайте вы туда-то и туда-то". Я ехал туда-то и туда-то и получал такие же ответы и советы. Наконец, бродя по очередному пригороду, на этот раз по Салтыковке, выдохшийся и отчаявшийся, за одним из заборов я увидел супружескую пару, мирно пившую чай на веранде. Я попросил напиток. Старушка предложила мне стакан чаю -- без сахара, но все-таки чаю. Я присел и пожаловался на свою судьбу: вот столько недель ищу хоть какого-нибудь жилья -- и ничего не могу найти. Старичок уверенно посочувствовал: действительно, ничего найти нельзя. Я пожаловался еще раз: вот, семья торчит в Одессе и привести ее некуда.

-- Так вы, значит, из Одессы? -- спросил старичок.

Одесса пользуется репутацией самого вороватого города в России. И на вопрос: "Скажите, а вы не из Одессы?" -- анекдот отвечает так: я, собственно говоря, из Петербурга... -- Ага, -- сказал старичок, -- а в котором году вы бежали?

Я понял, что попался. И ответил туманно: как и все. Старушка предложила мне еще стакан чаю. Потом поговорили о том, о сем. Потом старушка вышла на кухню, старичок последовал за ней. Что-то шептались. У меня на душе было неуютно: вот проболтался! Но оба супруга скоро вернулись на веранду, и на меня свалилась манна небесная:

-- У нас, видите ли, -- сказал старичок, -- кое-какое помещение есть, только, может быть, дороговато для вас будет -- тридцать пять рублей в месяц, две комнаты.

Я не верил своему счастью: в Москве я платил, правда, пятнадцать рублей, но одни клопы чего стоили! И там была одна комната, здесь две. Потом оказалось, что был еще и коридор, который тоже мог сойти за комнату. Все это помещалось в мансарде, стены были из грубо отесанных сосновых бревен, в центре всего этого стояла огромная, дебелая, материнская уютная кафельная печь, которая грела души наши в течение шести суровых московских зим. Во дворе была банька, в которой перед нашим въездом в пристанище капиталистической анархии мы смыли с себя наслоение московской социалистической эпохи и прошпарили паром наши вещи. Словом, почти рай. Я с тех пор -- до самого Берлина -- ни разу не имел дел ни с какими домкомами. Меня никто не тащил на собрания жильцов. Меня никто не заставлял контролировать хозяйственные действия товарища Руденко, владельца частнохозяйственной дачи в Салтыковке. Когда я, усталый и голодный, возвращался домой, никто не стучал в мои двери, вызывая меня на собрания, посвященные вопросам озеленения детей и заготовки мусора. Каким-то таинственным образом крыша не текла сама по себе, мусор исчезал, как кролик в рукаве престижидидатора: таинственно, бесследно и, главное, бесшумно, без всякого участия "широкой общественности", сам по себе. В дни, предначертанные Господом Богом, приходил трубочист и чистил мою печку. Если у меня в это время оказывалась рюмка водки -- обычно она оказывалась, -- я предлагал ее трубочисту. Но этим мои связи с профессиональным союзом трубочистов и ограничивались. Вообще был рай: не было ни бумажек, ни собраний, ни общественности, ни самодеятельности, было очень нище, очень просто, но по-человечески организованное человеческое жилье. А не клопиное социалистическое стойло. И, кроме того, рядом с товарищем Александром Руденко на моем горизонте появился гражданин Иван Яковлев -- на этот раз уже не товарищ, а только гражданин, не "инвалид труда", в какого ухитрился превратить самого себя Руденко, а откровенно хищная, хотя и микроскопическая акула капитализма.

Рядом с железнодорожной станцией как-то внезапно выросло странное сооружение из латаного полотна, старых досок и кровельного толя. Вокруг этого сооружения вертелся какой-то неизвестный мне рваного вида человек. Потом на сооружении появилась вывеска: "Съестная палатка. Иван Яковлев". Потом в этой палатке появилось приблизительно все, что мне было угодно: яйца и сосиски, картофель и помидоры, селедка и хлеб. Все это без всяких карточек. Без всяких очередей, удостоверений брака, гнили и плана. Все это было чуть-чуть дороже, чем в советских кооперативах. Потом стало чуть-чуть дешевле. Но покупая десяток яиц, я был твердо уверен, что ни одного пятака я не заплатил ни за одно гнилое яйцо. Потом стало намного дешевле. Потом кооперативы умерли. Имейте, впрочем, в виду, кооперативами они не были никогда, ибо ими управляли не частные пайщики, а правительственные чиновники. Во всяком случае, государственная торговля автоматически скончалась, и гражданин Яковлев почти так же автоматически переехал со всеми своими сосисками в помещение бывшего ТПО -- транспортного потребительского общества. Даже и на службе меня перестали тащить на кооперативные собрания, предлагать контролировать заготовки яиц и вообще проявлять какую бы то ни было самодеятельность в области дел, которые меня не касались. Я получил, наконец, некоторую возможность заняться теми делами, для которых я, собственно, и был нанят: за организацию спорта, а не вывозки мусора, вставки стекол, заготовки яиц, общественного контроля над кооперативной сапожной мастерской. Правда, кое-что еще осталось. От собраний в стиле Международного общества помощи жертвам реакции (МОПР) я не мог отделаться до конца своих дней. Общества помощи жертвам революции в Советской России по понятным причинам не было.

Я чувствовал себя, почти как птица небесная. Или во всяком случае как человек, кое-как выкарабкавшийся из помойной ямы. За мои заботы о благосостоянии и о мускулах советских спортсменов мне кто-то платил очень скудные деньги. Недостающие я добывал путем фоторепортажа, спортивной хроники в газетах и прочими такими частнокапиталистическими способами. Я нес эти деньги товарищу Руденко, который без всякого бюрократизма снабжал меня стенами и крышей, и гражданину Яковлеву, который без собраний и очередей снабжал меня селедками и прочим.

О том, как именно добываются, транспортируются, хранятся все эти жизненные блага, я никакого понятия не имел, да и не имею и сейчас. Я "в общем и целом" считаю себя толковым человеком. В калейдоскопической смене моих советских профессий черная торговля, несомненно, занимала самое черное место: не выходило ровным счетом ничего. Однажды, еще во времена позднего военного коммунизма, мне нужно было ехать в Москву, и у меня возникла теоретически гениальная догадка о том, что спирт в Москве стоит в пять раз дороже, чем он стоил в Одессе. В Одессе тогда свирепствовало еще одно чисто капиталистическое предприятие -- Американская администрация помощи. В числе прочих вещей она снабжала социалистическое население стуженным молоком. Мои теоретические предположения были так же безукоризненно правильны, как, скажем, теоретические построения марксизма. Я купил сто банок молока. С каждой из них я самым аккуратным образом содрал этикетку. Под каждой бывшей этикеткой я проковырял дырочку. Каждую банку -- они накоплялись постепенно -- я промыл кипятком. Потом сквозь дырочку налил спирту. Потом дырочки залил оловом. Потом заново наклеил этикетки. Все было совершенно правильно. Был упущен из виду только один факт, что спирт является лучшим растворителем, чем кипяток. И те остатки молока, которые застряли в углах между доньшками и стенками банок, не поддались кипятку, но поддались спирту. И когда спирт доехал до Москвы, то оказалось, что он не годится почти никуда. С горя я высосал его сам. Потом я вез огурцы из деревни в Одессу. Все было совершенно правильно спланировано -- только телега по дороге сломалась, чинили ее три дня, и огурцы пропали. Я все-таки должен подчеркнуть тот факт, что по курсу политической экономии я в университете был далеко не из последних студентов. Иван Яковлев, вероятно, никогда не слышал о Рикардо, о законе Грехема или о тюненовском "изолированном государстве". Однако с селедками и прочим он как-то справлялся лучше меня.

Мы оба -- Яковлев и я -- были друг другом вполне довольны. По крайней мере я. Хозяйственные отношения краткого периода "передышки", прорыва анархии в стройность планов сводились, приблизительно, к следующему.

Я и мои соседи -- сапожник, монтер, врач и прочие -- занимались каждый своим делом и не вмешивались ни к какие чужие дела. Нужно с прискорбием констатировать тот факт, что некоторое и довольно значительное количество людей и со своим собственным делом справиться не в состоянии. Гражданин Яковлев справлялся со своим вполне удовлетворительно. Но если бы мы все обнаружили, что гражданин Яковлев является вредителем, саботажником, лодырем, растратчиком, головотяпом и т.п., то ни я, ни сапожник, ни врач никаких общих собраний устраивать не стали бы, никуда с доносами не побежали бы и никому не предложили бы посадить гражданина Яковлева в тюрьму или в концентрационный лагерь. Наш вердикт был бы молчалив, индивидуален и безапелляционен: мы бы пошли покупать селедку к гражданину Сидорову. Только и всего. И этого немного приговора было бы достаточно, чтобы гражданин Яковлев без всякого бюрократизма и показательных процессов так же тихо и мирно вылетел в трубу. Причем ни я, ни сапожник, ни врач даже и спрашивать не стали бы: почему у гражданина Яковлева на десяток яиц оказалось одно гнилое. Ни для кого из нас это не представляло ровно никакого интереса. Совершенно само собой разумеется, что я буду заниматься разведением спорта, сапожник -- подшиванием подметок, врач -- исследованием желудочного сока, а гражданин Яковлев -- заготовкой яиц и прочего. Было также само собой разумеющимся, что где-то за пределами нашего салтыковского горизонта торчат люди, которые ловят селедки, сажают томаты или разводят кур. Данное положение вещей меня устраивало почти совсем. По неопытности житейского моего стажа я его не анализировал: чего же анализировать само собой разумеющиеся вещи? Потом пришел и анализ. Но только потом.

В моих взаимоотношениях с кровавым частником Яковлевым почти все преимущества лежали на моей стороне. Я, собственно, был бюрократом. Это было, правда, только случайностью в моей биографии, иначе я бы в этом не признался никогда. Есть в мире только две вещи, в которых никогда и никому не признается ни один мужчина в мире: а) то, что он дурак и б) что он бюрократ. Люди могут признаваться в том, что они воры и сифилитики, алкоголики и гомосексуалисты, но в двух вещах -- в бюрократизме и в глупости -- кажется, не признавался еще никто и никогда.

Человеческая душа имеет неисследованные никакой наукой глубины.

Повторяю, я встречал людей, которые не без профессиональной гордости говорили: "Я вор, вором и помру". Я никогда не слышал о людях, которые говорили бы: "Я дурак, и дураком помру" или "Я бюрократ и бюкратом и окончу свой век". Так, кажется, не бывает. Следовательно, и мое признание в бюрократизме нужно принять с целым рядом оговорок. Я, в общем, оказался очень плохим бюкратом. Или, несколько точнее, плохим сочленом бюкратического сообщества. Так сказать, паршивой овцой в хорошо подобранном стаде.

Я был спортивным бюкратом: это совершенно новая в истории человечества отрасль бюкратической деятельности. И касается она тех людей, которые могут заниматься спортом, но могут им и не заниматься. Власть над жизнью и смертью, над едой и голодом, над жилплощадью и бездомностью у меня не было. Когда вышестоящие бюкраты предложили мне составить ряд специальных систем гимнастики и спорта для санитаров, бухгалтеров, металлистов, врачей, грузчиков и прочих, я тщетно возражал, что все пролетарии мира имеют одно и то же количество позвонков, бицепсов и прочего и что поэтому разные системы спорта для разных профессий являются чепухой. Мои возражения не помогли. Моя настойчивость стоила бы мне службы и кое-чего еще. Я эти системы изобразил. Они были совершеннейшей чепухой, но и совершенно безвредной чепухой. Но когда мне предложили формировать футбольные команды из девушек ("социалистическое равноправие женщин"), то я проявил совершенно неприличную в бюкратической среде строптивость нрава, из-за которой меня в конце концов выгнали вон. Но так как, кроме барократического-спортивной профессии, у меня в запасе была еще и дюжина других, то это меня смутило мало. Скажем так: я не был типичным бюкратом. Но бюкратом я все-таки был -- по крайней мере в чисто социальном отношении. Будучи бюкратом, я ни от каких потребителей не зависел никак. Я зависел -- по крайней мере теоретически -- только и единственно от моего начальства. Я состоял инспектором спорта при профсоюзах и являлся частичкой "плана". План не стоил ни одной копейки, но моего личного положения это не меняло никак. Я назначен свыше, и мировой закон борьбы за существование, приближаясь ко мне, прекращает бытие свое. Мне совершенно безразлично, будут ли довольны мои спортсмены, которых я призван опекать и планировать, или не будут довольны. И когда меня в конце концов все-таки выгнали вон, то выгнало начальство, а совсем не спортсмены. Я считал, что в условиях недоедания и прочего задачей физической культуры должно явиться поддержание известного уровня здоровья пресловутых трудящихся масс. Плановые органы считали, что "трудящиеся массы" есть термин демагогический и во внутреннем употреблении -- неприличен. Им можно оперировать в кругах планируемых, но по меньшей мере бестактно оперировать им в кругах планирующих. Говоря чисто практически, вопрос стоял так: в стране имеется тысяча кирпичей и сто фунтов хлеба. Следует ли хлеб разделить по фунту на сто спортсменов, а кирпичи по сто на десять лыжных станций -- или десяток профессиональных и пропагандных спортсменов "Динамо" кормить на убой за счет остальных спортсменов, а на стадион "Динамо" ухлопать все кирпичи за счет остальных спортивных сооружений. Можно защищать обе точки зрения. За защиту моих собственных из бюкратического рая я и был изгнан. Благодаря накопленному за это время запасу социалистической мудрости я отделался очень дешево -- в тюрьму не попал. Но мог и попасть.

Все это, однако, случилось несколько позже, при переходе от анархии НЭПа к первым пятилетним планам. А в этот промежуток времени, о котором я сейчас говорю, я был одним из сочленов бюкратической касты, а Иван Яковлев был одним из проявлений капиталистической анархии. Я от Яковлева не зависел никак. Яковлев всячески зависел от меня. Он должен был угождать моим вкусам, проявлять по моему адресу всяческую любезность. Он был вынужден заботиться о моем здоровье. Если бы я отравился гнилыми сосисками, я вынес бы ему мой молчаливый вердикт: присужден к высшей мере капиталистического наказания -- больше у Яковлева я покупать не стану. Если бы он продавал сосиски дороже Сидорова, я бы перешел к Сидорову. Он, капиталист, был вынужден быть милым и доверчивым, ибо сколько раз случалось, что моя наличность равнялась нулю (текущего счета у меня не было никогда), и перед ним стоял тяжелый выбор: отпустить ли мне фунт сосисок в долг или не отпустить, испортив наши дружеские отношения. Он, Яковлев, рисковал не только тем, что я не захочу

заплатить, но и тем, что я не смогу заплатить: вот сорвусь на какой-нибудь футболизации трудящихся девушек -- и пошлют меня на Соловки, и пропали деньги. Яковлев вынужден был проявлять целую массу знаний людей и вещей, состояние рынка и транспорта, мои вкусы и склонности, мою кредитоспособность, политику партии и НКВД -- словом, целую массу вещей, от которых зависел каждый день его капиталистического существования. Не знаю, как он, но я был доволен вполне. На некоторый промежуток времени я был как-то изъят из действия социалистических законов. Я жил у частного, питался у частного капиталиста, я не посещал ни митингов, ни собраний, не участвовал ни в тройках, ни в пятерках, не заботился о заготовках картофеля и о контроле над заготовителями картофеля, -- и я был сыт.

Потом как-то постепенно и незаметно начались сумерки тщедушного нэповского капитализма. Странная вещь: когда в советской печати появились первые статьи, посвященные первому -- тогда еще будущему -- пятилетнему плану организации "веселой и зажиточной жизни" на "родине всех трудящихся", ни я, ни мои соседи не проявили к нему решительно никакого интереса. Ну что ж, план -- так план, поживем -- увидим. И пожить, и увидеть удалось не всем...

Курс политической экономии я проходил под руководством профессора Туган-Барановского, крупнейшего политэконома России, -- конечно, марксиста. По тем временам -- 1912-1916 годы -- я возлагал некоторую надежду на науку политической экономии. Наука в лице профессора Туган-Барановского возлагала некоторые надежды и на меня. Кажется, разочаровались обе стороны. И обе очутились в эмиграции. Если бы это было юридически возможно, в эмиграции я предъявил бы профессору Туган-Барановскому иск за нанесение увечий моим мозгам: сейчас мне совершенно ясно, что после курса у профессора Туган-Барановского я во всем, что касается народного и вообще человеческого хозяйства, вышел еще большим дураком, чем был до курса. Можно было бы предъявить и иск об изувеченной жизни: наука товарища Туган-Барановского проповедовала как раз те пятилетки, которые на нас всех и свалились. Так что если товарищ Сталин является политическим убийцей, то профессор Туган-Барановский и прочие иже с ним были подстрекателями к политическим убийствам. Это абсолютно ясно. Несколько менее ясен вопрос о смягчающих вину обстоятельствах: теперь я так же ясно вижу, что профессор Туган-Барановский и прочие иже с ним были просто глупы. И очень сильно содействовали также и моему собственному поглупению.

Во всяком случае, все мои научные познания в области политики и политической экономии, истории вообще и истории французской революции в частности, в той форме, как все эти познания мне втемяшились в университете -- марксистском и императорском университете, -- на практике оказались совершеннейшей чепухой -- совершенно такой же, как и мои инструкции по физической культуре для врачей и грузиков. Я не предвидел ничего. И не понимал ничего. Первые "наметки" первого пятилетнего плана не произвели на меня никакого впечатления. Хочу отдать справедливость и себе: я все-таки оказался, по меньшей мере, не глупее остальной московской интеллигенции. Я считал эти наметки такой же бюрократической ерундой, как и мои собственные физкультурные планы. Но большинство московской интеллигенции было очень довольно: вот это здорово -- все-таки будет построено то-то и там-то; "наконец-то какой-то план". Туган-Барановских они принимали еще больше всерьез, чем в свое время принимал их я. Иван Яковлев, человек явственно "необразованный", оказался все-таки умнее всех нас. И он первый как-то пронюхал и говорил мне: "Ох, уж эти планы, добром это не кончится".

Это и не кончилось добром. Но конец приходит как-то незаметно и постепенно -- как приходит к человеку старость. Что-то как-то стало исчезать. Еще так недавно Яковлев встречал меня радостно словами: "Вот только что получил беломорские селетки -- первый сорт!" Теперь его оптимизм как-то стал выдыхаться: "Вот опять нету селедок, уж Бог его знает, что оно творится". Я понимал: если уж у Яковлева селедок нет, то, значит, с селедками что-то действительно творится. Но, как это ни страшно, самая простая мысль о том, что где-то стали социализировать и селетки, мне в голову не приходила. Это человека легко социализировать -- ему деваться некуда. Рыбам морским и птицам небесным на социализацию, конечно, наплевать: они все живут без паспортов и границ, без плана и даже без науки. Но

все-таки постепенно стали исчезать томаты и селедки, сосиски и прочее. И потом сразу, неожиданно, скоростно исчез и сам Яковлев. Так исчез, что я до сих пор не знаю, что с ним случилось.

В один сумрачный вечер моей жизни, вернувшись со своей бюрократической деятельности из Москвы и привычно заворачивая к логовищу моего капиталистического хищника, я был поражен мрачным зрелищем. Привычная вывеска: "Съестные припасы. Иван Яковлев" была свергнута руками какого-то революционного пролетариата и валялась на земле. Пролетариат, стоя на двух лестницах, прибывал над логовищем новую, хотя тоже старую, вывеску -- какого-то "Транспортного потребительского общества №606" (точного номера я сейчас не помню). Этот кооператив продолжал существовать и в яковлевскую эпоху -- где-то на задворках, ведя, так сказать, чисто отшельнический образ жизни, чуждаясь и товаров, и людей, презираемый и людьми, и товарищами. Теперь, значит, он возвращается на круги своя. Еще месяц тому назад ТПО торговало багажом исчезнувших железнодорожных пассажиров, случайными партиями лошадиных подков, проржавевшими консервами государственных заводов. Однажды там почему-то появилось несколько десятков пар скэтингов, хотя во всей Салтыковке и в двадцати километрах радиусом не было ни одного клочка асфальта, были песок и грязь. Не знаю, что случилось с этими скэтингами.

В Москве я, в общем, вел спортивный образ жизни. И целый день мотаясь по всяким делам, по дороге домой слезал за 8 километров до Салтыковки и покрывал это расстояние пешком в один час: это была моя ежедневная норма. И поэтому домой возвращался я голодным, как капиталистическая акула. Я протиснулся в возрожденный к новой плановой жизни кооператив. Почти у самого порога меня встретил совершенно приличного вида мужчина и спросил кратко и деловито: "Вам тут что?"

Приличного вида мужчину я очень ясно помню и до сих пор, но ни фамилии, ни имени его я не знал никогда. Гражданин Иван Яковлев ходил в довольно затрапезном обмундировании: сапоги бутылками, поддевка, грязноватый фартук. Приличного вида мужчина имел модернизированную и даже американизированную внешность, "догонял и перегонял Америку". Но Иван Яковлев встречал меня с распростертыми объятиями: "Чем могу вас порадовать сегодня?" Или: "У меня сегодня что-нибудь особенное!" -- не очень грамотный, но все-таки приятный оборот речи. Приличного вида мужчина не сказал даже: "Что вам угодно?" -- а просто: "Что вам тут?" И стал надвигаться на меня таким образом, что мне оставалось или напирать на него животом, или отступить к двери. Отступая, я задал вопрос о селедках и прочем. Приличного вида мужчина сказал категорически: "Мы сегодня товар учитываем, приходите завтра!" Я сказал, что есть хочу именно сегодня, -- завтра, впрочем, тоже буду хотеть, -- так что же я буду есть сегодня?" Приличного вида мужчина сказал: "Ну, это я не могу знать", -- и захлопнул дверь перед самым моим носом.

Я понял. Кровавый частник, хищник и эксплуататор исчез. На его месте появилось бескровное, вегетарианское и пролетарское, но все-таки начальство. У Яковлева я был потребителем. У приличного вида мужчины я буду только просителем. Яковлев приветствовал во мне клиента. Приличного вида мужчина будет видеть во мне попрошайку. Яковлева, значит, ликвидировали как класс. Приличного вида мужчины сейчас делят селедки его и о сосисках его бросают жребий. Останется ли хоть что-нибудь и на мою долю?"

Я вспомнил о втором эксплуататоре трудящегося и бюрократического населения Салтыковки -- о купце Сидорове и пошел к нему. Двери его предприятия были заколочены и опечатаны. И на дверях висела краткая информация: "Закрето". Почему закрыто и на сколько времени, не сообщалось. Меня охватило ощущение беспризорности, заброшенности, осиротелости. Пока был Иван Яковлев, я уже знал, что я не пропаду и голодать не буду. Он уж там как-то все это оборудует. Сейчас -- только первый вечер без Яковлева, и мне уже нечего есть. Что будет во все остальные вечера моей плановой жизни? Нет, гражданин Яковлев при всей его политэкономической безграмотности был все-таки прав: добром это не кончилось. А, может быть, и это еще не конец?

Я лег спать голодным. Следующий мой служебный день я посвятил официально обследованию московских спортплощадок, неофициально -- беготне по московским базарам. Базары были почти пусты. Вечером я снова зашел в ТПО. "Учет товаров" был, по-видимому, закончен. Товары были, очевидно, как-то планоно перераспределены. Селедок не было вовсе. "У нас их по плану не

заведено", -- сказал мне приличного вида мужчина. "А как их снова включить в план?" -- "А вы напишите, куда следует", -- приличного вида мужчина сказал, куда именно следует написать. Я написал. С тех пор прошло еще штук пять пятилеток, и до сих пор нет ни ответа, ни селедок.

Потом исчезли сосиски. Потом исчезло вообще все. Опять какие-то лошадиные подковы... К зиме появилась партия соломенных шляп. Приличного вида мужчина смотрел на меня, как на назойливого нищего. Потом мне на службе не доплатили десять рублей жалованья и сказали, что это мой вступительный взнос в ТПО. Я не протестовал. Потом у себя дома я нашел повестку на собрание пайщиков ТПО с пометкой "Явка обязательна", -- я не пошел. Потом, правда, в мое отсутствие, приличного вида мужчина зашел ко мне и оставил предписание явиться на субботник по разгрузке картофеля из вагонов в погреб, -- я снова не пошел. Потом, как-то позже, приличного вида мужчина, встретив меня на улице, принялся меня распекать: я-де на собрания не хожу, в тройках и пятерках не участвую, не интересуюсь кооперативной общественностью и саботирую заготовку и разгрузку картофеля. Но к этому моменту я уже распродал свое последнее имущество в целях побега из плана в анархию, от кооперативов к частникам, от эксплуатируемых к эксплуататорам, от гнилой картошки по крайней мере к колбасе. И вообще -- от приличного вида мужчины хоть к чертовой матери. В силу всего этого приличного вида мужчину я послал в столь литературно неопишное место, что он испугался сразу. Откуда ему, бедняге, было знать, что мой конвульсивный и яростный порыв в свободу слова и сквернословия объясняется вовсе не моими связями с партийной бюрократией, а моими планами побега от нее. Приличного вида мужчина стал любезен во всю меру своей полной неопытностью в этом стиле обращения с людьми. Потом мы расстались. Надеюсь, навсегда.

ОТРАЖЕНИЯ ПРИЛИЧНОГО ВИДА МУЖЧИНЫ

Итак, анархический гражданин Яковлев исчез. По всей вероятности, на Соловки или в какое-нибудь иное соответствующее место. Его предприятие перешло к приличного вида мужчине. Гражданин Яковлев был одним из миллионов тридцати частных хозяев России: крестьян, лавочников, рыбаков, торговцев, ремесленников, предпринимателей и прочих. Подавляющая часть этих хозяев стала государственными рабочими, как все крестьяне и ремесленники. Часть исчезла куда-то на Соловки. Какая-то часть ухитрилась превратиться в приличного вида мужчин. Приличного вида мужчины, как общее правило и как масса, выныривали откуда-то из задворков партии, из "социалистической безработицы" (период НЭПа был периодом острой безработицы служащих и партийцев), из забытых людьми и товарами трущоб всяких ТПО, во время НЭПа пребывавших в состоянии торгового анабиоза. И одновременно с этим около двухсот миллионов потребителей автоматически превратились в двести миллионов потребителей.

В мире свободной конкуренции высшим, безапелляционным, самодержавным законодателем был я, Иван Лукьянович Солоневич, Его Величество Потребитель Всероссийский. Это от моей державной воли, вкуса или прихоти зависели и торговцы, и банкиры, и рыбаки. Вот возлюбил я, Иван Солоневич, беломорскую селедку -- и на Поморье возникают промыслы. Вот разлюбил я ту же селедку -- и на Поморье закрываются промыслы. Я диктовал свои неписанные законы и Яковлевым, и Ротшильдам и мог купить селедку у Яковлева и акцию у Ротшильда, но мог и не купить. И Яковлев стал Яковлевым и Ротшильд -- Ротшильдом вовсе не потому, что у обоих оказались акулы зубы эксплуататоров рабочего класса, а просто, автоматически просто потому, что Яковлев так же разумно и добросовестно торговал селедкой, как Ротшильд акциями. Если бы акции Ротшильда оказались бы какой-то гнилью, как картошка приличного вида мужчины, Ротшильд вылетел бы в трубу. Приличного вида мужчина вылететь в трубу не может никак: за его спиной стоит великое общество страхования бюрократизма -- Всесоюзная коммунистическая партия. Ему, приличного вида мужчине, совершенно наплевать и на качество картошки, и на мое пищеварение,

и тем более на мои вкусы. Он застрахован вполне. Или по крайней мере думает, что застрахован вполне. Приличного вида мужчина имеет два отражения: одно -- в декламациях и другое -- в его повседневности. Декламация говорит об идее и энтузиазме. Или -- несколько с другой стороны -- о догматизме и фанатизме. Нужно твердить и твердить: ничего этого нет. Ни идеи, ни энтузиазма, ни догматизма, ни фанатизма. Есть профессиональные интересы слоя, касты или банды, назовите, как хотите, паразитирующей на убийственном хозяйственном строе. Строй -- истинно убийственный. Какое дело до этого приличного вида мужчине? Крепостной строй был тоже истинно убийственный. Какое дело до этого было владельцам дворянских гнезд и крепостных душ? В дворянских гнездах была своя декламация -- о "величии России", в коммунистических ячейках есть своя -- о величии революции и СССР как носители революции. Крепостное рабство вело к упадку великую страну -- социалистическое рабство ведет к тому же. Приличного вида мужчина типа Льва Толстого и его героев были озабочены этим так же мало, как приличного вида мужчина из ТПО и его сотоварищи. Но ни идеи, ни энтузиазма, ни догматизма, ни фанатизма не было ни в дворянских гнездах, ни в коммунистических ячейках. И там, и там был грабеж -- и больше ничего. И было туманное предчувствие конца этого грабежа. Именно от этого идет общая для гнезд и для ячеек ненависть. Может быть, поэтому именно самая аристократическая часть русской эмиграции сейчас promышляет советским патриотизмом, а самая "рабоче-крестьянская" предпочитает самоубийство возвращению в патриотические объятия Советов?

Революционные процессы отражаются в декламации и в философии. Повседневный быт революции проходит вне внимания и декламации, и философии. Но именно он определяет все. В тридцати миллионах хозяйственных ячеек страны развивается приблизительно одна и та же профессия: замены капиталиста, предпринимателя, представителя анархической частной инициативы мужчинами приличного вида, а иногда и вовсе неприличного вида.

Итак, капиталист Яковлев сломан и выброшен за борт жизни. В свое время он покупал селедку, перевозил селедку и продавал селедку. Он богател и разорялся, но это касалось только его самого. Если он пропивал, то только свои собственные деньги. Если он не умел торговать, то он платил своими собственными убытками. Сейчас он исчез. На его месте появился приличного вида мужчина. И появились совершенно новые линии хозяйственного развития страны.

В среднем следует предположить, что приличного вида мужчины -- люди, как люди, не хуже и не лучше других. На практике они все-таки хуже. И что, управляя НЕ своим собственным имуществом, они должны как-то контролироваться. Нужно иметь в виду: советский кооператив НЕ есть кооператив. Нормальная кооперация есть результат сложения некой суммы частных собственников -- совершенно так же, как и любая акционерная компания: где-то в конечном счете сидит частный собственник пая или акции. Советская кооперация есть государственное предприятие, регулируемое общегосударственным планом и поэтому подчиненное общегосударственной бюрократии. Потому на другой же день после исчезновения Яковлева, а может быть, и в тот же день на всемирно-исторической сцене появляются такие, до сего времени не отмеченные мировой философией термины, как усушка, утруска и прочие синонимы воровства. Никогда в моей социалистической жизни -- ни в России, ни в Германии -- мне не удавалось купить фунт сухого сахара. Он принимается магазином в сухом виде. В магазине он таинственно набухает водой, и эта вода продается покупателю по цене сахара. Разницу менее таинственным образом потребляют мужчины приличного вида -- конечно, за МОЙ счет.

Техника государственной торговли выработала неисчислимое количество методов планового и внепланового воровства. Если предоставить этому воровству полную свободу рук, то все будет разворовано в течение нескольких недель, а может быть, и дней. Нужен контроль. По всему этому над тем местом, где раньше бесплатно и бесконтрольно хозяйничал мой Яковлев, вырастает массивная пирамида:

а) бюрократия планирующая, б) бюрократия заведующая, в) бюрократия контролирующая, г) бюрократия судящая и д) бюрократия расстреливающая.

Появилась также необходимость всю эту бюрократию как-то кормить. Техника кормления этой бюрократии, как и всякой бюрократии в мире,

распадается на две части -- официальную и неофициальную. Официальная выражается в "ставке", неофициальная -- во всех видах утечки, взятки, смазки, блата и прочих трудно переводимых синонимов воровства. Фактически потери национального хозяйства никак не ограничиваются теми деньгами и товарами, которые разворованы бюрократией. Самые страшные потери -- это бюрократические тормоза, навьюченные на всякую человеческую деятельность в стране.

Моя Салтыковка была маленьким подмосковным пригородом. Ее кооператив -- ТПО -- был, так сказать, микроскопом всего социалистического хозяйства. Это была одна из миллионов тридцати клеточек великого социалистического организма. То, что происходило в ней, происходило и в остальных тридцати миллионах. Что же происходило в ТПО и что не могло не происходить? Имейте в виду: не могло не происходить. Но в нашу эпоху министерств пропаганды и вранья было бы наивно рассчитывать на доверие читателя к фактической стороне моего повествования. Но, может быть, у читателя окажется доверие к своему собственному здравому смыслу. А также и к своему жизненному опыту.

Салтыковка была микроскопом СССР. Каплей, в которой отражалось все величие Союза Социалистических Республик. Или -- несколько иначе -- тем "Изолированным Государством", на гипотетическом примере которого немецкий геллертер Тюнен пытался анализировать законы земельной ренты. В Салтыковке была своя партийная организация: мировая революция интересовала ее мало -- здесь масштабы сводились к выпивке и закуске. Был свой отдел НКВД. Был свой отдел Госплана. Была комсомольская ячейка. Словом, было все то, что полагается. Я не подсчитал того процента, который в Салтыковке занимала бюрократическая часть ее населения, но я полагаю, он никак не был меньше, чем в оккупационных зонах Германии. И всякая дробь этого процента хотела и выпить, и закусить. Выпивка же и закуска находились под хранительным попечением приличного вида мужчины.

Каждая человеческая группа, раз организовавшись, склонна к некоей обособленности. Если никаких социальных и прочих оснований для этой обособленности нет, изобретаются совершенно случайные, вот вроде как у немецких студенческих корпораций. Совершенно естественно, что группа людей, проживающих в Салтыковке и объединенных партией, бюрократизмом, привилегированностью и прочим, рассматривала себя как некий правящий слой четырех-пяти тысяч рядовых салтыковских обывателей. В числе этой правящей группы был и приличного вида мужчина.

Приличного вида мужчина оказался распорядителем предприятия, которое не он создал и в котором он или понимал мало, или не понимал вовсе ничего. Ибо если бы он понимал, скажем, столько же, сколько понимал мой покойный Иван Яковлев, то он и был бы предпринимателем, а не бюрократом. Купцом, а не чиновником, акуллой капитализма, а не сардинкой партии. Было бы слишком наивно предполагать, что в эпоху НЭПа приличного вида мужчина продавал подковы, скэтинги и прочее только потому, что он уже тогда предвидел судьбу Яковлева или что у него было некое идейное отвращение к частнособственническим методам эксплуатации селедки. Может быть, такие идейные мужчины где-то и были. Но в общей массе их в расчет принимать никак нельзя. Мой кооператор не понимал ничего. Однако если бы он не понимал, то это никак не меняло бы дела. В области спорта я могу считать себя понимающим человеком. И это не помогло никак. Таким образом, некомпетентность приличного вида мужчины является только осложняющим, но никак не решающим фактором общего развития.

Для того чтобы не быть обвиненным в ненаучности, я буду исходить из лучшего случая, -- из предположения, что приличного вида мужчина есть мужчина компетентный и добросовестный. Я имею некоторое основание утверждать, что в моей спортивной области я был и компетентен, и добросовестен. Однако на практике оба эти качества оказываются только отрицательными. Если бы я был некомпетентен, то директиву о формировании женских футбольных команд я стал бы проводить в жизнь, просто не зная, какие именно последствия для женского организма будет иметь этот вид спорта. Если бы я был компетентен, но недобросовестен, я бы на эти последствия наплевал. Если бы приличного вида заведующий кооперативом был бы компетентным человеком, то он не мог бы не войти в целый ряд коллизий с окружающим его миром партийно-торговой бюрократии, ибо этот мир по необходимости

формировался из людей, кроме партии не знавших ровным счетом ничего, иначе они и раньше были бы профессиональными торговцами, а не профессиональными революционерами. Если он, зав, был бы человеком добросовестным, то, находясь в окружении привилегированного слоя, касты или банды, он на своем месте не мог бы удержаться ни одной секунды. Кроме того, сочетание компетентности и добросовестности будет более или менее автоматически вызывать в человеке некие позывы к проявлению личной инициативы. Личная инициатива так же более или менее автоматически вызовет ряд коллизий с планом, с директивами партии, с ее классовой политикой, с методами действия тайной полиции, с запрещением, например, снабжать хлебом детей, родители которых были лишены избирательных прав ("лишены" -- по советской терминологии). Или, иначе, сочетание профессиональной компетентности с моральной добросовестностью и с полным и безоговорочным признанием всех директив партии, если и встречается в этом мире, то только в виде исключения. На исключениях никакой работающей системы строить нельзя.

Я хочу еще раз отделаться от всяких обвинений в каком бы то ни было догматизме. И в каких бы то ни было философских предпосылках. Нет никакого сомнения в том, что в целом ряде случаев хозяйственные предприятия, основанные на коллективных принципах, работали, по крайней мере, не хуже всяких других. Монастырские имения католических и православных монахов были в свое время носителями и сельскохозяйственной и прочей культуры. Огромные латифундии католической церкви в целом ряде стран и сейчас, по-видимому, работают совсем неплохо. Очень неплохо работает мировой почтовый союз. Кажется, совсем неплохо работали русские и германские государственные железные дороги. По-видимому, при каких-то мне неизвестных условиях общественные предприятия проявляют по меньшей мере достаточную степень жизнеспособности. С другой стороны, еще более бесспорен тот факт, что все попытки создать человеческие общезития, построенные на коллективистических началах, провалились самым скандальным образом -- начиная от платоновских коммун и кончая толстовскими (ниже я перечисляю эти попытки). Та отрасль современной схоластики, которую мы именуем политической экономией и прочими производными, до сих пор постаралась установить те условия, при которых имения братьев-бенедиктинцев процветали и при которых фаланстеры товарищей фурьеристов проваливались. Вероятно, условий этих очень много. Одно из них, вероятно, сводится к тому, что в монастыри шел какой-то отбор, в фаланстеры шли какие-то отбросы. Но, может быть, не следует идеализировать и братьев-бенедиктинцев: они в свое время были освобождены от всяких налогов. Может быть, не следует переоценивать и казенных дорог в России: частные все-таки давали большую прибыль. Повторяю: мы этого не знаем. Нас этому не учили. Этим наука не поинтересовалась.

Я склонен утверждать, что в Российской коммунистическую партию шли почти исключительно отбросы. В германскую национал-социалистическую шли главным образом отбросы, но уже не исключительно. Моральный состав германской партии был, несомненно, выше русской. Может быть, отчасти именно поэтому внутрипартийная немецкая резня не приняла таких ужасающих размеров, как русская, и хозяйственные последствия нацизма в Германии не имели такого катастрофического характера, как в России. В России социалистическое хозяйство оказалось сплошной катастрофой.

Приличного вида мужчина случайно мог оказаться человеком компетентным и добросовестным. Однако совершенно очевидно, что если в стране происходит насильственная замена тридцати миллионов частных предпринимателей десятком миллионов приличного вида мужчин, то такого количества компетентных и добросовестных людей не может выделить никакая бюрократия мира. И с другой стороны, никакой бюрократический аппарат не может быть построен на доверии к компетентности и добросовестности его сочленов. Аппарат должен быть построен на контроле. Если дело идет о почтовых марках, которые не подвергаются ни усушке, ни утечке, ни порче, ни колебаниям в цене, ни влияниям общественной моды или личных вкусов, -- этот аппарат работает. Если дело идет о селедке -- аппарат просто перестает работать. Селедка обрывает контроль. Одновременно с селедкой таким же контролем обрывает и каждый сноп. Становится меньше и селедки, и хлеба. Становится больше соблазна украсть. Приказчик каждого гастрономического магазина считал себя вправе съесть хозяйскую селедку -- и Иван Яковлев признавал за ним это право: это был быт.

Приличного вида мужчина -- в особенности, когда селедок стало мало, -- тоже ими не брезговал. Но если он имел право на селедку, то почему не имел такого же права и другой, уже контрольного вида мужчина? И если селедок оказывалось мало и они становились предметом "распределения", то совершенно естественно, что преимущественное право на это распределение получал, скажем, секретарь салтыковской партийной ячейки. Но в Салтыковке, как я уже говорил, существовала целая коллекция местного начальства -- "партийная головка", по советской терминологии. Приличного вида мужчина зависел не только от своего вышестоящего партийного и кооперативного начальства, но также и от местной партийной головки. И если к нему приходил или ему присылал записку начальник местной милиции, жаждавший и выпивки, и закуски, то приличного вида мужчина не мог отказать. Конечно, у него были все юридические основания для отказа. Но не одними юридическими основаниями жив будет человек, социалистический в особенности. План вызывает террор. Террор вызывает бесправие. Зав КООПом, в сущности, имел также мало прав, как имел их и я. Любой соседствующий бюрократ мог его или съесть, или посадить, или просто подвести. Акт об антисанитарии. Донос о партийном уклоне. Жалоба на нарушение классовой линии в раздаче селедок. Арест ("до выяснения") по обвинению в саботаже и вредительстве. Заметка в местной газете о посещении церкви или непосещении комсомольских собраний. Ну и так далее...

В каждой общественной группе происходят некоторые деяния, которые обозначаются несколько неопределенным термином "интрига". Для советского быта этого термина оказалось недостаточно. Был выработан ряд синонимов: склака, буза, гнойник, кружковщина, -- их все равно ни на какой язык перевести нельзя. Все эти варианты интриги опутывают приличного вида мужчину с головы до ног, как они опутывали и меня. Но я ни при каком усилии воли не мог украсть футбольной площадки, да никакому бюрократу она и не была нужна. У приличного вида мужчины лежат селедки, их можно украсть, и они всем нужны. Так что приличного вида мужчина, хочет он этого или не хочет, вынужден вступать в какие-то сделки с совестью, селедкой и секретарем партийной ячейки. И -- в обратном направлении -- секретарь партийной ячейки был вынужден вступать в сделки с селедкой, приличного вида мужчиной и даже с совестью в тех редких случаях, когда она существовала. Или, проще, бюрократический контроль над бюрократическим аппаратом повторял всемирно-историческую попытку барона Мюнхаузена: вытащить самого себя из болота, в данном случае бюрократического. Да еще и с лошадью, в данном случае "трудящейся массы". Барону Мюнхаузену, если верить его словам, это удалось. Советская власть даже и не вралась об удаче.

Во всяком случае, каждая национализированная и социализированная селедка и сосиска, фунт хлеба и пара брюк стали обрастать и контролем, и воровством. Чем больше было воровства, тем сильнее должен быть контрольный аппарат. Но чем крупнее контрольный аппарат, тем больше воровства, -- контролеры тоже любят селедку. Тогда с некоторым опозданием советская социалистическая власть вспоминает обо мне, трудящемся, потребителе, пролетариате, массе и прочее. И власть говорит мне: "Вот видите, товарищ Солоневич, государство у нас рабоче-крестьянское, но с бюрократическим извращением, -- это формулировка В. Ленина. Идите княжить и владеть контролем. Контролируйте бюрократов, волокитчиков, загибщиков, головотяпов, аллилуйщиков, очковтирателей (список этих синонимов можно бы продлить еще строчки на две-три). Идите и контролируйте".

Я не иду. И никто из приличных людей не идет. Во-первых, потому, что ни я, ни врач, ни сапожник, ни монтер решительно ничего в этом не понимаем. Во-вторых, потому, что у нас есть и свои собственные и профессии и дела. В-третьих, потому, что, будучи среднетолковыми людьми, мы понимаем совершенно ясно: ничего путного выйти не может.

Я вернусь к моей собственной бюрократической деятельности. Итак, я руководитель спорта при Центральном совете профсоюзов. Я один из винтов бюрократической машины, которая решительно никому вообще не нужна. Из всего того, что я делаю, процентов девяносто пять не имеет абсолютно никакого смысла. Остальные пять процентов -- при нормальном положении вещей -- спортсмены организовали бы и без всякой помощи с моей стороны. А также и без того "плана", который я призван составлять, предписывать и проверять. Моя спортивная служба ввиду этого была почти на все сто процентов чепухой. Она

никому не была нужна. Если я все-таки кое-что сделал, то только во внеслужебном порядке: писал книги о том, как нужно подымать гири или заниматься гимнастикой. Но все-таки мое бюрократическое существование не было безразличным. Я не мог помочь ничему. Но я очень многое мог испортить.

Мои планы никому не были нужны, как планы Госрыбтреста не были нужны никакому Яковлеву. Но уже приличного вида мужчина ничего не имел права сделать без плана, иначе что же остается от самого принципа планирования. Любой лыжный кружок страны мог достать лыжи и ходить на них решительно без всяких плановых указаний с моей стороны, но он на это не имел права, ибо, опять-таки, какой же иначе план? Я был тормозящим фактором в развитии русского спорта, как и Госплан в развитии русского хозяйства. Но я, по крайней мере, старался не быть тормозом. Мой спорт подвергается такому же контролю, как и кооперативная селедка.

Нормальный бюрократический аппарат контроля состоит из планирующих и контролирующих органов данного ведомства, из партии, рабоче-крестьянской инспекции, милиции и как ультима рации регс -- из ОГПУ-НКВД. Есть и еще кое-какие промежуточные звенья. Все это оказывается недостаточным. Власть обращается к трудящимся: "Спасайте, кто в Маркса верует!" Власть организует из трудящихся дополнительный контроль -- "общественный контроль", как он называется в СССР. Само собою разумеется, что и этот "общественный контроль" подчинен и партии, и плану -- иначе какая же диктатура и партии, и плана? Гениальность всего этого торможения заключается в идее, чтобы я контролировал всех и все контролировали меня. Или, иначе, чтобы я шпионил за всеми и все шпионили за мной.

Итак, я составил свои планы и "директивы". Обливаясь потом, я протащил их через все нормальные бюрократические инстанции. Я должен "спустить их в низовку", и низовые спортивные организации получают право планомерно кататься на лыжах. В это время ко мне приходят комиссии общественного контроля -- "легкая кавалерия", как их называют в СССР. Их много, а я один. У них есть время, у меня его нет. Их время, потраченное на контроль, естественно, оплачивается, как рабочее время, и комиссиям приятнее контролировать спорт, чем стоять за станком. Но еще приятнее, конечно, контролировать селедку. Они копаются в моих планах и директивах и делают разные совершенно идиотские замечания. Все не совершенно идиотские уже были сделаны в нормально бюрократических контрольных инстанциях. Я НЕ МОГУ работать, лыжники не имеют права кататься на лыжах, комиссии приходят одна за другой, и ни единой из них я не имею права спустить с лестницы или выбросить в окно.

Но я заведу спортом. Я ничего не могу украсть, и мне нечем дать самой заваливающей взятки. Поэтому в моем случае все это кончается более или менее мирно. Контрольная биография селедки кончается гораздо более трагически...

Во всяком обществе имеется некоторый процент беспокойных людей, которые любят соваться не в свое дело, -- главным образом потому, что в мире нет никакого дела, которое они могли бы назвать своим. Художественное обобщение такого типа вы можете видеть в любом цирке. Это именно он старается помогать всем, всем мешает, всем лезет под ноги, получает по морде и удаляется за кулисы. Именно из этой общественной прослойки вербуются всякого рода общественный контроль.

Обнаружив воровство на предприятии приличного вида мужчины, общественный контроль обращается в милицию. Милиция составляет протокол. Неохотно, но все-таки составляет. Особенной охоты ей взять неоткуда. Во-первых, потому, что приличного вида мужчина, как правило, состоит членом правящей партии. Во-вторых, потому, что с ним у милиции установились более или менее дружественные отношения. В-третьих, потому, что милиция, составляя часть правящего слоя в стране и правящей группы в Салтыковке, никак не лишена известной групповой и кастовой солидарности. В-четвертых, потому, что подвергшаяся злоупотреблению селедка была съедена при соучастии той же милиции. Или если и не данная селедка, то ее ближайшая родственница. Кроме того, милиция не без некоторого основания будет предполагать, что наш общественный контроль сегодня сунул свой нос в кооперативные дела, а завтра, может быть, сунет в милицмейские.

Но протокол все-таки составлен. Начинается следствие, и начинаются первые контрольные разочарования.

Протокол передается в прокуратуру. Прокуратура вызывает контролера.

Прокуратура передает дело в суд -- контролер вызывается в суд в качестве свидетеля. Не всегда, но очень часто одновременно с прокуратурой и судом делом занимается и НКВД: нет ли в кооперативе, кроме уже раскрытых злоупотреблений, еще и нераскрытых. Вызовы в прокуратуру и в суд, как общее правило, не влекут за собой решительно никаких неприятностей. Потеря времени оплачивается органами социального страхования, и при некоторой административной ловкости таким способом можно увильнуть от работы целыми неделями. Но когда вас вызывают в НКВД, то ни вы, ни ваша семья никогда не знаете, в чем тут дело, чем оно пахнет и вернетесь ли вы домой или не вернетесь. В подавляющем большинстве случаев наш контролер возвращается домой вполне благополучно.

Потом наступит суд. Подсудимый приличного вида мужчина и его защитник, естественно, будут стараться всячески опорочить каждого свидетеля обвинения, каким в данном случае является наш контролер. Методы опорочивания, как и во всяком суде, могут быть весьма разнообразны. В советском суде самое простое -- это подрыв политической благонадежности свидетеля. Всегда может быть поставлен вопрос: не включается ли в деятельность контролера-свидетеля не столько желание проявить свою пролетарскую бдительность, сколько желание подорвать авторитет партии и социализма вообще?

...В годы "новой экономической политики" в Москве издавался сатирический журнал "Чудак". Это был партийный журнал. Его редактировал Мих. Кольцов, соредактор "Правды", член партии и вообще самый крупный (тогда!) журналист Советского Союза. Последняя страница одного из номеров "Чудака" была посвящена фотографическому отчету о таком происшествии.

У некоего ленинградского жителя, товарища Иванова, комиссариат социального обеспечения незаконно отобрал всю его мебель. Товарищ Иванов обратился к товарищу Сидорову, комиссару этого комиссариата (помещена фотография товарища Сидорова). Товарищ Сидоров товарищу Иванову отказал наотрез. Товарищ Иванов обратился к районному партийному комиссару товарищу Петрову (помещена фотография товарища Петрова!). Товарищ Петров сказал, что все это, собственно, касается прокуратуры, и ему, товарищу Иванову, следует обратиться к прокурору товарищу Павлову (помещена фотография товарища Павлова!). Таким образом товарищ Иванов обошел одиннадцать комиссаров.

Предпоследний сказал, что нужно обратиться к самой высшей партийной инстанции Ленинграда -- к секретарю Ленинградского комиссариата партии. Товарищ Иванов направился к этому секретарю. Но пока он обходил всех указанных и фотографически отмеченных товарищей, товарищ Сидоров, бывший комиссар социального обеспечения, успел стать секретарем Ленинградского комитета партии. Круг был замкнут. "Чудак" был закрыт. Несколько позже редактор Мих. Кольцов исчез неизвестно куда.

Мих. Кольцов был старым партийным пройдохой. Но споткнулся и он. Какие шансы не споткнуться имеются на вооружении среднего активиста?

Защитник приличного вида мужчины будет исследовать политическое прошлое свидетеля. В подавляющем большинстве случаев оно совершенно безупречно: на контролерские подвиги могут идти только заведомые идиоты. Но защита также поинтересуется и настоящим свидетеля: не занимался ли он сам операциями по покупке черного хлеба на черном рынке? И не заключается ли в его гражданском подвиге элемент склоки, бузы и прочих советских симптомов понятия "интрига"? И не является ли выступление свидетеля "вылазкой классового врага"? При не вполне удачных ответах на все эти вопросы можно пересесть со скамьи свидетелей на скамью подсудимых. Но это, повторяю, случается сравнительно редко.

Дальше, однако, происходят вещи, которые не могут не произойти. Итак, наш приличного вида мужчина получил свое законное возмездие за воровство, растрату, бесхозяйственность, головоунытие, саботаж, срыв плана, кумовство и прочее в этом роде. Он попадает в тюрьму. Наш контролер остается в той же Салтыковке. В ней же остаются и все остальные партийные и беспартийные друзья, товарищи и собутыльники приличного вида мужчины. Каждый из них по мере своей возможности постарается запомнить физиономию контролера: вчера он подвел заведующего кооперативом, сегодня он может подвести другого сочлена правящей "головки". В видах самой элементарной самозащиты контролера нужно заблаговременно съест.

Методы социалистического съедения так же разнообразны, как

социалистические синонимы понятия воровства и интриги. Среди них есть простые и действующие без всякого промаха. Например, в Салтыковке имеется электростанция. В эпоху капиталистической анархии она где-то там закупала дрова и снабжала нас всех током. Потом дрова были включены в план. Станция перестала работать, как и другие соответствующие станции. Спрос на керосин возрос, но керосина стало меньше, как и других спланированных жизненных благ. В Салтыковку керосин по плану не попадал. В Москве его хотя и с трудом, но можно было купить. Провоз керосина по железной дороге запрещался по двум соображениям: борьба с черной торговлей и пожарная безопасность. Но, разумеется, вся Салтыковка покупала керосин в Москве -- не сидеть же в потемках? Покупал его и наш контролер. Так что милиции было совершенно достаточно порыться в портфеле нашего контролера и отправить его туда же, куда его усилиями был только что отправлен приличного вида мужчина.

Для того, чтобы взвалить себе на плечи все эти бремена и опасности, нужна или святость души, или несколько эмбриональное состояние мозгов. В первые годы существования Союза Социалистических Республик Дон-Кихоты еще водились. Потом они вымерли. И естественной и, еще больше, неестественной смертью. Остался беспокойный и совершенно бестолковый элемент, одержимый неким общественным зудом и кое-какими надеждами на начало кое-какой административной карьеры. Этот элемент гибнет, как мухи на липкой бумаге, но это не останавливает других мушиных полчищ: вот ведь, видят же, что их ближайшие подружки и родственницы увязли насмерть. И все-таки жужжат и липнут к любому бюрократу и воруящему или, что случается реже, к неверующему. На партийно-активистском кладбище липкой бумаги погибли такие экземпляры, как Троцкий и Кольцов, Бухарин и Ягода, но десятки и сотни тысяч и миллионы новых аспирантов на тот свет так и льнут к соблазнительной поверхности революционно-административной деятельности. Муравьиное общество, говорят, устроено лучше человеческого. Не знаю, я там не жил. Но умственные способности некоторых групп человечества никак не выше мушиных.

В этом, как и во всякой революции, есть своя самоубийственная сторона: люди гибнут сами. Но еще живя и еще жужжа, они не дают жить никому другому. Они придают всему общественному строю характер какого-то мелкого, назойливого, повседневного беспокойства. В данном строе есть и свои трагические стороны. Но есть и свои надоедливые.

Общественный контроль относится именно к ним. Но он не помогает и он не может помочь. Нельзя бороться с бюрократией путем ее дальнейшего разложения. Нельзя рассчитывать на то, что подонки, пришедший править и жрать, даст другому подонку возможность вырвать из своего рта и власть, и жратву.